

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. Кондратьев
**ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Вячеслав Кондратьев

Отпуск по ранению

Издательство «Детская литература»

1979, 1980

Кондратьев В. Л.

Отпуск по ранению / В. Л. Кондратьев — Издательство «Детская литература», 1979, 1980 — (Школьная библиотека (Детская литература))

В книгу вошли две повести о войне «Сашка» и «Отпуск по ранению», главный герой которых – молодой солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все бремя ответственности за судьбу Родины. Для старшего школьного возраста.

© Кондратьев В. Л., 1979, 1980

© Издательство «Детская литература», 1979, 1980

Содержание

Окопная правда	7
Сашка	14
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Вячеслав Леонидович Кондратьев
Отпуск по ранению
Повести



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'В. Л. Кондратьев'. The signature is written in a cursive style with a prominent horizontal stroke across the top.

1920–1993

Окопная правда

Вячеслав Кондратьев и его «ржевская» проза

На склоне дней больной, одинокий Джонатан Свифт писал с печалью: «Потеря друзей – это тот налог, которым облагаются долгожители».

Пришло время и мне платить этот скорбный налог: многие друзья ушли в мир иной. Вячеслав Кондратьев, чья жизнь трагически оборвалась в 1993 году, был для меня не только автором обжигающе талантливой военной повести, но и другом. И связывали нас не одни лишь литературные вкусы, но прежде всего и больше всего жизненный опыт, общая военная, фронтовая судьба. Оба мы были окопники, как сказано об этом в одной из самых популярных песен Булата Окуджавы, певца нашего, скошенного свинцом почти под корень поколения: «А мы с тобой, брат, из пехоты...»

Я хорошо помню, где и как мы познакомились с Кондратьевым. Было это в 1979 году – то ли в конце марта, то ли в начале апреля – в Ленинке после читательской конференции по роману Симонова «Так называемая личная жизнь» (последней такого рода его конференции – через полгода Константина Михайловича не стало). Когда растаяла длинная очередь жаждущих получить у известного писателя автограф, Симонов представил мне ожидавшего его человека: «Это автор „Сашки“».

Тогда в февральской книжке журнала „Дружба народов“ с предисловием Симонова и его стараниями была наконец напечатана эта первая повесть Кондратьева. Симонов радовался появлению „Сашки“ так, словно это было его собственное произведение, с величайшим трудом пробившееся на журнальные страницы. Он хорошо знал цену правды о войне – и как нелегко она писателю дается, и как непросто ее путь к читателю.

Чем-то Кондратьев походил еще на одного ушедшего моего друга – Виктора Некрасова, родоначальника прозы фронтового поколения, автора ставшей уже классикой повести «В окопах Сталинграда», вытолкнутого в эмиграцию еще до литературного дебюта Кондратьева. Обоим писателям была свойственна интеллигентность, демократичность, особого рода молодость (которая есть свойство не столько физическое, сколько душевное), страстная ненависть ко лжи, демагогии, к фашизму и к родному, отечественному тоталитаризму – любых тонов и оттенков.

Они, Кондратьев и Некрасов, испытывали взаимную глубокую симпатию. Кондратьев не раз повторял: «Все мы вышли из некрасовских „Окопов“». А Некрасов, говоря в одной из своих последних статей о произведениях, появившихся в ту пору, когда он был уже в эмиграции, признавался: «Один Вячеслав Кондратьев всколыхнул меня своим „Сашкой“». И как я мог догадываться, туристическую поездку во Францию – дело по тем временам хлопотное, сопровождавшееся всевозможными унижениями, требовались справки, характеристики, – Кондратьев затеял главным образом для того, чтобы познакомиться, повидаться с Некрасовым (затея, кроме всего, небезопасная, поскольку Некрасов числился нашими властями в отъявленных «антисоветчиках»). Эта моя догадка потом подтвердилась. Возвратившись из Франции, Вячеслав светился от радости, показывая мне фотографию, на которой был снят вместе с Некрасовым в Париже.

Четверть века назад Василь Быков, размышляя о состоянии и перспективах литературы о Великой Отечественной войне, высказал важное, как я полагаю, принципиального характера соображение: «... Я, немного повоевавший в пехоте и испытавший часть ее каждодневных мук, как мне думается, постигший смысл ее большой крови, никогда не перестану считать ее роль в этой войне ни с чем не сравнимой ролью. Ни один род войск не в состоянии сравниться с ней в ее циклопических усилиях и ею принесенных жертвах. Видели ли вы братские клад-

бища, густо разбросанные на бывших полях сражений от Сталинграда до Эльбы, вчитывались когда-нибудь в бесконечные столбцы имен павших, в огромном большинстве юношей 1920–1925 годов рождения? Это – пехота. Я не знаю ни одного солдата или младшего офицера – пехотинца, который мог бы сказать ныне, что прошел в пехоте весь ее боевой путь. Для бойца стрелкового батальона это было немыслимо. Вот почему мне думается, что самые большие возможности военной темы до сих пор молчаливо хранит в своем прошлом пехота».

Повести и рассказы Кондратьева – за «Сашкой» последовали «Отпуск по ранению», «Селижаровский тракт», «Овсянниковский овраг», «День победы в Чернове», «Борькины пути-дороги», «Знаменательная дата» и другие – возникли именно на том направлении нашей литературы о войне, которое выделял Быков и на котором было не так много заметных удач. Они посвящены пехотинцам, окопникам. И автор их – тоже из пехоты. О его фронтовой судьбе рассказывал в предисловии к журнальной публикации «Сашки» Константин Симонов: «... Несколько слов о военной биографии писателя. С первого курса – в 1939 году – в армию, в железнодорожные войска, на Дальний Восток. В декабре 41-го – один из пятидесяти младших командиров, отправленных из полка на фронт после подачи соответствующих рапортов.

В составе стрелковой бригады – на переломе от зимы к весне 1942 года – под Ржев, а если точнее, чуть северо-западнее его. Помкомвзвода, комвзвода – временно, за убылью командного состава, принял роту; после пополнения – снова комвзвода. Все это за первую неделю. Потом новые бои, такие же тягостные, неудачные – словом, те же самые, которые с перехваченным горечью горлом вспоминают фронтовики, читая или слушая «Я убит подо Ржевом» Твардовского. Убит – эта чаша миновала автора «Сашки». На его долю досталось ранение и медаль «За отвагу» – за отвагу там, подо Ржевом...» Вот что рассказывал Симонов. Но и без этого предисловия, из самих сочинений Кондратьева ясно – так написать можно только о пережитом, о том, что с тобой было, что ты видел своими глазами...

Литературный дебют Кондратьева был явлением неожиданным, совершенно уже неожиданным – прецедентов не было, я, во всяком случае, припомнить не могу. В столь зрелом возрасте (через год после публикации "Сашки" Кондратьеву стукнуло шестьдесят, у него в руках была серьезная профессия художника-оформителя, которая кормила его не одно десятилетие) если и берутся за перо, то с единственной целью – написать мемуары. И тут, мне кажется, и нужно искать главное объяснение этого все-таки из ряда вон выходящего случая. В том-то и дело, что своего рода мемуарность – существенная, можно сказать, родовая особенность почти всей военной прозы писателей фронтового поколения. Эта проза не всегда строго автобиографична, но она насквозь пропитана воспоминаниями о фронтовой юности. Всех их, писателей этого поколения, буквально выталкивала в литературу сила пережитого, и повести о военной юности, которые они написали, особенно первые, были одновременно и солдатскими и лейтенантскими мемуарами. Теми мемуарами, которые в самом деле никто никогда не отваживался писать. Вячеслав Кондратьев в этом смысле исключения не составляет – вот разве что очень уж много времени прошло после войны. Каков же был заряд пережитого, чтобы сработать и через три с лишним десятилетия!

В своих заметках о том, как создавался "Сашка", Кондратьев писал: "Я начал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности, другой – в прошлом, в войне. Ночами приходили ко мне ребята моего взвода, крутили мы самокрутки, поглядывали на небо, на котором висел "костыль", гадали, прилетят ли после него самолеты на бомбежку, а я просыпался только тогда, когда черная точка, отделившись от фюзеляжа, летела прямо на меня, все увеличиваясь в размерах, и я с безнадежностью думал: "Это *моя* бомба..." Начал я разыскивать тогда своих ржевских однополчан – мне до зарезу нужен был кто-нибудь из них, – но никого не нашел, и пала мысль, что, может, только я один и уцелел, а раз так, то тем более должен я рассказать обо всем. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже просто не мог не начать писать".

О силе этого чувства, об одержимости – иное слово здесь не подходит – автора, для которого то, что он стал писать о войне, было не только литературной задачей, но и смыслом и оправданием его жизни, выполнением долга, свидетельствует хотя бы такой факт. Не напечатан еще ни одной строки из написанного, не имея никаких гарантий, что какое-нибудь из его произведений увидит свет (а надо ли говорить, как важен этот стимул для художника), Кондратьев продолжал писать повесть за повестью, рассказ за рассказом. И многое из того, что увидело свет после "Сашки", было написано до этой повести или одновременно с нею. Только страстная вера в то, что он обязан рассказать *о своей войне*, об однополчанах, которые сложили голову в затяжных, стоивших нам больших жертв боях подо Ржевом, – а люди должны узнать обо всем этом, – только такая неостывающая, ни с чем не считающаяся вера могла питать это упорство, эту длившуюся не один год подвижническую работу...

Но что значит *своя война*? Константин Симонов писал о "Сашке": "Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности – солдатской". Не знаю, годится ли в первых двух случаях превосходная степень; легкой войны не бывает, и одному Богу, наверное, известно, где она была самой трудной – подо Ржевом или в Сталинграде, у Севастополя или на Невской Дубровке. Но что подо Ржевом в силу разных обстоятельств – и объективных, и субъективных, которые правдиво отражены в произведениях Кондратьева, – было невыносимо тяжело, об этом спору нет... В упоминавшемся Симоновым стихотворении Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" эти ставшие гибельными места, эти многомесячные безрезультатные кровопролитные бои возникли не случайно. Рассказывая через четверть века после войны историю своего стихотворения, поэт связывал его рождение с тем тягостным чувством, которое возникло у него во время пребывания подо Ржевом осенью 1942 года: "Впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце. Бои шли тяжелые, потери были очень большие, боеприпасов было в обрез – их подвозили вьючными лошадьми. Вернувшись в редакцию своей фронтовой "Красноармейской правды", которая располагалась в Москве, в помещении редакции "Гудка", я ничего не смог дать для газетной страницы, заполнив лишь несколько страничек дневника невеселыми записями". А в "Сашке" все это мы видим глазами человека, находившегося там, на передке, действительно "в самой трудной должности – солдатской".

И вот на что еще хочется сегодня обратить внимание, о чем невозможно было в полный голос сказать тогда, когда начали публиковаться повести и рассказы Кондратьева; впрочем, об этом и нынче не очень распространяются военные историки. Кондратьев в своей "ржевской" прозе изнутри показал то, что в сводках Совинформбюро небрежно-успокаивающе называлось "боями местного значения". А в этих боях без пользы и смысла было угроблено людей, наверное, не меньше, чем в самых крупных и знаменитых сражениях. Кто из фронтовиков не помнит появляющегося в дни вынужденного затишья, когда и людей почти не оставалось в ротах, и снаряды и гранаты были на счету, разъяренного поверяющего из какого-нибудь высокого штаба (на ротном уровне любой штаб воспринимался как высокий) с ничего хорошего не сулившей нашему брату окопнику фразой: "Что у вас тут – война кончилась? Вы что, мир с немцами заключили?" И тут пехоту для демонстрации столь желанной начальству боевой активности без артподготовки, да и вообще без всякой подготовки бросали в атаку – отбить какую-то высотку или деревеньку, хотя никакого продолжения этой операции не планировалось да и не могло быть. И даже если удавалось захватить село или высоту – чаще не удавалось, – непомерной ценой было за это плачено. Кажется, никому в нашей литературе не удалось так, как Кондратьеву, показать во всей своей страшной реальности проникший во все структуры армейского механизма сталинский принцип: людей не жалеть, потери в расчет не принимать.

Кондратьев показывает, какую тяжесть нес на своих плечах рядовой пехотинец, которому "каждый отделенный – начальник", для которого и КП батальона, находящийся в каком-нибудь километре-двух от окопов – рукой подать, – был уже тылом. И вроде не очень много он может со

своим автоматом и парой гранат (против него и пулеметы, и артиллерия, и танки, и самолеты), а все-таки именно он и его товарищи – решающая сила армии, и только о той земле мы говорим, что она в наших руках, которую удерживают или взяли они, пехотинцы, – вот им и достается.

А в боях подо Ржевом хлебнули они горячего до слез. На что уж Сашка не избалован жизнью: с малых лет приучен к нелегкому крестьянскому труду, привык к невзгодам ("был в детстве и недоед, и в тридцатых и голод настоящий испытал"), но и ему невмоготу – все разом на них навалилось здесь, из последних сил держатся. И тяжело не только то, что которую неделю они на виду у смерти, каждую минуту она подстерегает – из первоначальных ста пятидесяти тринадцать человек осталось в их "битой-перебитой" роте, да это еще после того, как пополняли, наскребая кого только можно в полковых и дивизионных тылах. Хотя надежда на лучшее не оставляла Сашку, он хорошо понимал, что ждет пехотинца: "Передок, ранение, госпиталь, маршевая рота и опять передок. Это если будет везти. А сколько может везти? Ну раз, как сейчас, ну два... Но не вечно же? А война впереди долгая".

Нет, устал так Сашка не от одной лишь постоянной смертельной опасности – не меньше от того, что все время на фронте впроголодь, что во всем нехватка (не только в харчах и куреве, солдатском обмундировании и сапогах, валенках, но и в боеприпасах), что и на переднем крае, и в армейском тылу порядка маловато и все их усилия и жертвы по-настоящему не окупаются. От этого на душе у Сашки камень, а чтобы давил поменьше, он старается убедить себя, что "по-другому, видно, нельзя было дело повернуть, какую-то задачу важную они выполняли и, возможно, выполнили". Но все эти невеселые обстоятельства боев подо Ржевом (как и скудная жизнь в разоренных войной прифронтовых деревнях, которую наблюдает добирающийся до госпиталя Сашка, и суровая, затемненная, работающая до изнеможения Москва, где матери и жены со страхом ждут стука почтальона, не принесет ли "похоронку", – такой видит столицу герой "Отпуска по ранению") важны и интересны не сами по себе – ведь это не документальные очерки, а художественные произведения, – а тем, как в них проявляются характеры героев, обнаруживая скрытые, не дающие о себе знать в мирное время, в обычных условиях душевные ресурсы.

Характер Сашки – главная удача Кондратьева. В жизни каждый из нас, наверное, не раз сталкивался с людьми, чем-то напоминающими кондратьевского героя, и если мы не сумели по-настоящему понять и оценить этот характер, то потому, что он еще не был открыт и объяснен искусством. Не зря Александр Твардовский говорил, что всякая действительность нуждается в подтверждении и закреплении средствами художественного выражения, а "до того, как она явится отраженной в образах искусства, она как бы еще не совсем полна".

Не так часто даже талантливому художнику случается отыскать в действительности новый характер. Кондратьеву это удалось, его Сашка – открытие. И пусть не обманывают простота и ясность этого характера – он таит в себе и глубину, и сложность, и значительность, до того литературой не обнаруженные, не подтвержденные. И имеющаяся у Сашки литературная "родня" (скажем, толстовские солдаты) пусть тоже не вводит читателей в заблуждение: перед ними явление, которое традицией не покрывается и не исчерпывается. Кондратьев рисует характер человека из народа, сформированный своим временем и воплотивший черты своего поколения. Добавлю для точности: лучшие черты. Этим, кстати, объясняются и те близость и взаимопонимание, которые так естественно и легко возникают у Сашки, деревенского парня, и его ротного, бывшего студента, у Сашки и главного героя повести "Отпуск по ранению" лейтенанта Володьки, выросшего в интеллигентной московской семье. Многие в их общественных убеждениях и нравственных представлениях совпадают.

Сложилась довольно устойчивая, но вовсе не бесспорная традиция изображения коренного народного характера как воплощения органического, "нутряного" нравственного чувства, чуждого какой-либо рефлексии и анализа. Кондратьев ее не приемлет. Его Сашка – человек не только с обостренным нравственным чувством, но и с твердыми, осознанными убеждениями.

И прежде всего он человек размышляющий, проницательно судящий и о происходящем вблизи него, и об общем положении дел. "На все, что тут (на фронте. – Л. Л.) делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он – не слепой же! – промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки..." Раздраженный упрямством Сашки, его неуступчивостью, добивающегося, невзирая ни на что, справедливости, ординарец комбата его увещевает: "Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье..." Приказали – исполнил! А ты..." А Сашка так поступить – "наше дело телячье" – не хочет и не может. И то, что многое о жизни, о людях, о войне продумано Сашкой, и то, что поступает он не безотчетно и импульсивно, а взвешенно и с пониманием, и то, что чувствует он себя, как сказано в "Василии Теркине", "в ответе за Россию, за народ и за все на свете", не раз обнаруживается в повествовании. Пытливый ум и простодушие, жизнестойкость и деятельная доброта, скромность и чувство собственного достоинства – все это соединилось, сплавилось в цельном характере Сашки.

Повести и рассказы "ржевского" цикла Кондратьева как бы прорастают друг в друга. Каждая вещь вполне самостоятельна, но между ними существуют и внутренние, скрытые и вполне очевидные сюжетные связи: один и тот же бой возникает в них то как происходящее на наших глазах, то в воспоминаниях разных персонажей, некоторые герои переходят из одного произведения в другое.

Художественное пространство в "ржевском" цикле невелико и кажется замкнутым: редющий в безуспешных атаках и от постоянных, как по расписанию, немецких обстрелов батальон; три расположенные неподалеку деревеньки – Паново, Усово, Овсянниково, в которых прочно закрепились немцы; овраг, маленькие рожицы и поле, за которым вражеская оборона, – поле, насквозь простреливаемое пулеметным и минометным огнем.

Ничем это овсянниковское поле вроде бы не примечательно, поле как поле, наверное, у каждой деревни в тех краях можно отыскать такое. Но для героев Кондратьева все главное в их жизни совершается здесь, и многим, очень многим из них не суждено его перейти – останутся они тут навсегда. А тем, кому повезет, кто вернется отсюда живым, запомнится оно на всю жизнь во всех подробностях – каждая ложбинка, каждый пригорок, каждая тропка. Все было тут не исхожено даже, а исползано – не очень-то походишь при губительном огне. Для тех, кто здесь воевал, даже самое малое исполнено немало, жизненно важного значения: и жалкие шалаши, служившие зимой хоть каким-то укрытием от ледяного, пробирающего до костей ветра; и мелкие окопчики – поглубже вырыть сил не хватало, – весной наполовину залитые талой водой; и последняя щепоть махорки, смешанной с крошками; и взрыватели от ручных гранат, которые было принято носить в левом кармане гимнастерки – если сюда угодит пуля или осколок, не важно, что они взорвутся, все равно хана; и валенки, которые никак не высушить; и полкотелка жидкой пшенной каши в день на двоих; и вдруг замедлявшееся, останавливавшееся во время атаки время – "полчаса только, а вроде бы жизнь целая прошла".

Тяжкий период войны изображает Кондратьев: мы учимся воевать, трудно дается нам эта учеба, дорогой ценой за нее расплачиваемся. Постоянный – из повести в повесть, из рассказа в рассказ – мотив у него: уметь воевать – это не только, зажав, преодолев страх, пойти под пули, не только не потерять самообладания в минуты смертельной опасности. Это еще полдела – не трусить. Труднее научиться другому: думать в бою и над тем, чтобы потерь – хотя они, конечно, неизбежны на войне – все-таки было поменьше, чтобы зря и свою голову не подставлять, и подчиненных не класть. Тогда, на первых порах, это не очень-то получалось...

Против нас была очень сильная армия – хорошо вооруженная, вымуштрованная, имевшая большой боевой опыт, уверенная в своей непобедимости. Чтобы ее разбить, надо было добиться превосходства в вооружении и технике, превзойти ее воинским умением, сокрушить ее наступательный дух. Но и это еще не все. Против нас была армия, отличавшаяся необычайной жестокостью и бесчеловечностью, не признававшая никаких нравственных преград в обра-

щении и с противником, и с мирным населением в захваченных областях. Однако жестокость не только устрашает, как полагали гитлеровцы, но и рождает ненависть. Конечно, гитлеровские злодеяния ее накаляли. Но ненависть даже к такому врагу, как фашистские захватчики, не была, не могла стать слепой и безграничной, ей устанавливали пределы те гуманистические ценности, которые мы защищали. Поэтому она не становилась разрушительной, не растлевала, не сеяла неуважение к человеческой жизни. Герои Кондратьева не могли платить фашистам той же монетой не потому, что захватчики этого не заслуживали, а потому, что это было для них невозможно: они утратили бы чувство безусловной правоты, абсолютного нравственного превосходства над фашистами, благодаря которому смогли вынести и невыносимое, сохранить и в самых отчаянных положениях веру в победу. Когда у Сашки спросили, как же он решился не выполнить приказ комбата – не стал расстреливать пленного, разве не понимал, чем это ему грозило, – он ответил просто: "Люди же мы, а не фашисты..." И простые слова его исполнены глубочайшего смысла: они говорят о неодолимости человечности, которая была тем рубежом, который фашисты взять не смогли, именно здесь они потерпели поражение.

"Ржевская" проза Кондратьева, в которой с такой скрупулезной и беспощадной точностью, без малейшей ретуши нарисован жуткий лик, вернее оскал, войны: грязь, вши, голодуха, кровь, трупы, – проникнута верой в торжество свободы и человечности. И эта вера, этот свет не позднего, ностальгического происхождения, они оттуда – из нашей войны, из тех тяжелых лет, которые справедливо называют и свинцовыми, и пороховыми, и кровавыми. Так было... И для тех, кто прошел этот ад, годы на фронте остались самыми главными в жизни, их звездным часом. Герой кондратьевского рассказа "Знаменательная дата" прожил после войны благополучную и вполне достойную жизнь. Он не может пожаловаться на судьбу: доволен своей работой, на заводе его ценят и уважают, у него хорошая семья. "Но все равно, – признается он, – тоска иногда забирает по тем денькам. Понимаете, по-другому тогда все было". Очень непросто объяснить – и ему, и мне, – что же в войну было по-другому, о чем эта тоска. Но суть герой Кондратьева, кажется, ухватил верно: "На войне я был до необходимости необходим". Наверное, ничего для человека не может быть важнее этого чувства...

В конце войны Семен Гудзенко – первый из возникавшей тогда плеяды поэтов-фронтовиков – написал стихотворение "Мое поколение". От имени фронтовиков-окопников – вчерашних школьников, недоучившихся студентов – обращается к читателям поэт. Это поколение Сашки, лейтенанта Володьки и самого Вячеслава Кондратьева, давшего им жизнь в литературе. В этом стихотворении есть такие строки:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
тот поймет эту правду, – она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты...

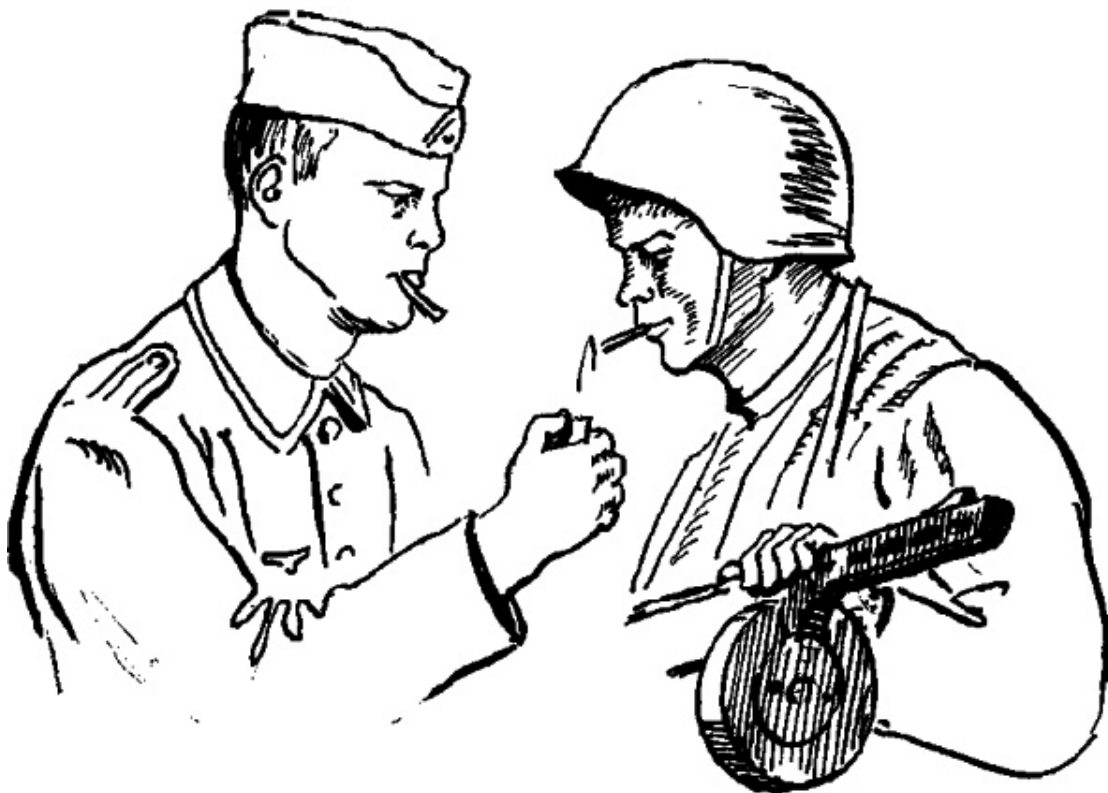
Долгие годы у нас не больно жаловали эту добытую с боем окопную правду. С каким яростным энтузиазмом науськанные высоким армейским начальством литературные стервятники клевали ее – это, мол, "очернительство", "дегероизация", да и что вообще мог видеть солдат из окопа, кому интересна, кому нужна его приземленная правда? А это была правда тех, кто на своих плечах вынес главную тяжесть жестокой и великой войны, заплатив за победу тыся-

чами тысяч юных жизней. Окопная правда – это народная память о пережитом на тех смертельных рубежах, где между нами и врагом была лишь ничейная земля. И если молодые поколения, к которым обращается в своем стихотворении Гудзенко, действительно захотят знать ее, эту горькую и высокую правду, – пусть читают "ржевскую" прозу Вячеслава Кондратьева.

Л. Лазарев

Сашка

*Всем воевавшим подо
Ржевом —
живым и мертвым —
посвящена эта повесть*



1

К вечеру, как отстрелялся немец, пришло время заступить Сашке на ночной пост. У края рощи прилеплен был к ели редкий шалашик для отдыха, а рядом наложено лапнику густо, чтобы и посидеть, когда ноги занемеют, но наблюдать надо было безотрывно.

Сектор Сашкиного обзора не маленький: от подбитого танка, что чернеет на середине поля, и до Панова, деревеньки махонькой, разбитой вконец, но никак нашими не достигнутой. И плохо, что роща в этом месте обрывалась не сразу, а сползала вниз мелким подлеском да кустарником. А еще хуже – метрах в ста поднимался взгорок с березняком, правда, не частым, но поле боя пригораживающим.

По всем военным правилам надо бы пост на тот взгорок и выдвинуть, но побоязничали – от роты далековато. Если немец перехватит, помощи не докличешься, потому и сделали здесь. Прогляд, правда, неважный, ночью каждый пенёк или куст фрицем оборачивается, зато на этом посту никто во сне замечен не был. Про другие того не скажешь, там подремливали.

Напарник, с которым на посту чередоваться, достался Сашке никудышный: то у него там колет, то в другом месте свербит. Нет, не симулянт, видно, и вправду недужный, да и ослабший от голодухи, ну и возраст сказывается. Сашка-то молодой, держится, а кто из запаса, в летах, тем тяжко.

Отправив его в шалаш отдыхать, Сашка закурил осторожно, чтобы немцы огонек не заметили, и стал думать, как ему свое дело ловчее и безопаснее сделать – сейчас ли, пока не затемнело совсем и ракеты не очень по небу шаркают, или на рассвете?

Когда наступали они днями на Паново, приметил он у того взгорка мертвого немца, и больно хороши на нем были валенки. Тогда не до того было, а валенки аккуратные и, главное, сухие (немца-то зимой убило, и лежал он на верховине, водой не примоченной). Валенки эти самому Сашке не нужны, но с ротным его приключилась беда еще на подходе, когда Волгу перемахивали. Попал тот в полынью и начерпал сапоги доверху. Стал снимать – ни в какую! Голенища узкие стянулись на морозе, и кто только ротному ни помогал, ничего не вышло. А так идти – сразу ноги поморозишь. Спустились они в землянку, и там боец один предложил ротному валенки на смену. Пришлось согласиться, голенища порезать по шву, чтоб сапоги стащить и произвести обмен. С тех пор в этих валенках ротный и плавает. Конечно, можно было ботинки с убитых подобрать, но ротный либо брезгует, либо не хочет в ботинках, а сапог на складе или нету, или просто недосуг с этим возиться.

Место, где фриц лежит, Сашка приметил, даже ориентир у него есть: два пальца влево от березки, что на краю взгорка. Березу эту пока видно, может, сейчас и подобраться? Жизнь такая – откладывать ничего нельзя.

Когда напарник Сашкин откряхтелся в шалаше, накашлялся вдосыть и вроде заснул, Сашка курнул наскоро два разка для храбрости – что ни говори, а вылезать на поле, холодком обдувает – и, оттянув затвор автомата на боевой взвод, стал было спускаться с пригорка, но что-то его остановило... Бывает на передке такое, словно предчувствие, словно голос какой говорит: не делай этого. Так было с Сашкой зимой, когда окопчики снежные еще не растаяли. Сидел он в одном, сжался, вмерзся в ожидании утреннего обстрела, и вдруг... елочка, что перед окопчиком росла, упала на него, подрезанная пулей. И стало Сашке не по себе, махнул он из этого окопа в другой. А при обстреле в это самое место – мина! Останься Сашка там, хоронить было б нечего.

Вот и сейчас расхотелось Сашке ползти к немцу, и все! "Отложу-ка на утро", – подумал он и начал взбираться обратно.

А ночь плыла над передовой, как обычно... Всплескивались ракеты в небо, рассыпались там голубоватым светом, а потом с шипом, уже погасшие, шли вниз, к развороченной снаря-

дами и минами земле... Порой небо прорезывалось трассирующими, порой тишину взрывали пулеметные очереди или отдаленная артиллерийская канонада... Как обычно... Привык уже Сашка к этому, обтерпелся и понял, что не похожа война на то, что представлялось им на Дальнем Востоке, когда катила она свои волны по России, а они, сидя в глубоком тылу, переживали, что идет война пока мимо них, и как бы не прошла совсем, и не совершить им тогда ничего геройского, о чем мечталось вечерами в теплой курилке.

Да, скоро два месяца минет... И, терпя ежечасно от немцев, не видел еще Сашка вблизи живого врага. Деревни, которые они брали, стояли будто мертвые, не видать в них было никакого движения. Только летели оттуда стаи противно воющих мин, шелестящих снарядов и тянулись нити трассирующих. Из живого видели они лишь танки, которые, контратакуя, перли на них, урча моторами и поливая их пулеметным огнем, а они метались на заснеженном тогда поле... Хорошо, наши "сорокапятки" затыкали, отогнали фрицев.

Сашка хоть и думал про все это, но глаз от поля не отрывал... Правда, немцы сейчас их не тревожили: отделялись утренними и вечерними минометными налетами, ну и снайперы постреливали, а так вроде наступать не собираются. Да и чего им тут, в этой болотной низинке? До сих пор вода из земли выжимается. Пока дороги не пообсохли, вряд ли поперет немец, а к тому времени сменить их должны. Сколько можно на передке находиться?

Часа через два пришел сержант с проверкой, угостил Сашку табачком. Посидели, покурили, побалакали о том о сем. Сержант все о выпивке мечтает: разбаловался в разведке – там чаще подносили. А Сашкиной роте только после первого наступления богато досталось – граммов по триста. Не стали вычитать потери, по списочному составу выдали. Перед другими наступлениями тоже давали, но всего по сто – и не почувствуешь. Да не до водки сейчас... С хлебцем плохо. Навару никакого. Полкотелка жидни пшенки на двоих – и будь здоров. *Распутница!*

Когда сержант ушел, недолго и до конца Сашкиной смены. Вскоре разбудил он напарника, вывел его сонного на свое место, а сам в шалашик. На телогрейку шинелишку натянул, укрылся с головой и заснул...

Спали они тут без просыпу, но Сашка почему-то дважды ото сна уходил и один раз даже поднялся напарника проверить – ненадежный больно. Тот не спал, но носом клевал, и Сашка потрепал его немножко, встряхнул, потому как старший он на посту, но вернулся в шалаш какой-то неуспокоенный. С чего бы это? Подсасывало что-то. И был он даже рад, когда пришел конец его отдыху, когда на пост заступил, – на самого себя надежи-то больше.

Рассвет еще не наступил, а немцы ракеты вдруг перестали запускать – так, реденько, одна-другая в разных концах поля. Но Сашку это не насторожило: надоело пулять всю ночь, вот и кончили. Это ему даже на руку. Сейчас он к немцу за валенками и смотается...

До взгорка добрался он быстро, не очень таясь, и до березы, а вот тут незадача... Расстояние в два пальца на местности в тридцать метров обернулось, и ни кустика, ни ямки какой – чистое поле. Как бы немец не засек! Здесь уж на пузе придется, ползком...

Сашка помедлил малость, обтер пот со лба... Для себя ни за что бы не полез, пропади пропадом эти валенки! Но ротного жалко. Его пимы насквозь водой пропитались – и за лето не просушить, а тут сухенькие наденет и походит в сухом, пока ему сапоги со склада не доставят... Ладно, была не была!

Без останова дополз Сашка до немца, схоронился за него, осмотрелся и взялся за валенок. Потянул, но не выходит! То, что приходится мертвого тела касаться, его не смущало – попривыкли они к трупам-то. По всей роще раскиданы, на людей уже непохожие. Зимой лица их цвета не покойницкого, а оранжевого, прямо куклы какие, и потому Сашка брезговал не очень. И сейчас, хотя и весна, лица их такими же остались – красноватыми.

В общем, лежа снять с трупа валенки не получалось, пришлось на колени привстать, но тоже не выходит, тянется весь фриц за своим валенком, ну что делать? Но тут смекнул Сашка

упереться ногой в немца и попробовать так. Стал поддаваться валенок, а когда стронулся с места, уже пошел... Значит, один есть.

Небо на востоке зажелтелось немного, но до настоящего рассвета еще далеко – так, еле-еле начинало вокруг кое-что проглядываться. Ракеты немцы совсем перестали запускать. Все же, перед тем как за второй валенок приняться, огляделся Сашка. Вроде спокойно все, можно снимать. Снял и пополз быстро ко взгорку, а оттуда меж осинок и кустов можно и в рост без опаски до своего шалашика.

Только подумал это Сашка, как завыло над головой, зашелестело, а потом грохнули разрывы по всей роще, и пошло... Что-то рановато сегодня немцы начали. С чего бы так?

Со взгорка сполз он в низинку и залег под кустом. В рощу возвращаться сейчас незачем – там все в грохоте, треске, в дыму и гари, а сюда немец не бьет. Опять подумалось: неспроста в такую рань начали и обстрел большой – рвутся мины одна за другой, пачками, будто строчит очередь какой-то здоровенный пулеметище. А вдруг наступать, гады, надумали? Эта мысль обожгла, но заставила Сашку глядеть в оба. В роще-то теперь под таким обстрелом вдавились все в землю, им не до наблюдения.

Вот заразы так заразы! Всё не перестают! И верно, такого налета Сашка не помнит: уж больно силен и долог. Глянул назад, и впрямь творится там страшное – разрывы по всему лесу, взмываются вверх комья земли, падают вывороченные с корнем деревья. Как бы не побил всех. Сашке даже неловко стало, что оказался он случайно в безопасности, от своей роты в отрыве, но валенки рукой погладил.

Курнуть захотелось смертно, и Сашка начал крутить сигарку, глаза на миг от поля отведя, а когда поднял их – обомлел!

Из-за взгорка поднимался громадный немец... Огляделся и дал сигнал рукой остальным, еще не видимым Сашкой: дескать, можно идти. Высунулись еще двое, такие же огромные, – сперва головы в касках, потом в полтуловища, а потом и во весь рост...

Сигарка у Сашки выпала из рук, дыхание перехватило, сердце провалилось куда-то, тело зацепенело – ни рукой, ни ногой не двинуть. А немцев тем временем прибавлялось – то здесь, то там появлялись. Большие, серые, размытые предутренней дымкой, страшные...

И Сашка понял: не выдержит он сейчас, поднимется, заорет благим матом: "Немцы!" – и бросится бежать в рощу, к своим, лишь бы не быть одному. Уже напряглось тело, уже растянулся рот... Но тут услышал он приглушенную команду "форвертс, форвертс", которую немцы исполнили не сразу, а заколебавшись. И вот эта минутная заминка у них, безо хотное выполнение приказа дало Сашке время прийти в себя, и страх, сдавивший его поначалу, как-то сошел с него.

Двигались немцы осторожно, с опаской, и это дало Сашке мысль: побаиваются они тоже, разве знать им, сколько русских в роще и что ждет их здесь? И это вдруг успокоило Сашку, голова заработала, мысли не пересекали друг друга, а стали строиться в ряд – что делать сначала, что потом... Наперво поглядел он назад и выбрал место поукрытистей, да не одно, а два, потом, привстав на колени, чтоб видеть лучше, резанул длинной очередью по немцам и сразу побежал к намеченному кусту, тут он опять с колена дал веерок трассирующих, перекатился в сторону, а уж оттуда что есть мочи бросился в рощу.

Здесь только услышал он ответную пальбу, крики, свист, улюлюканье и треск разрывных пуль вокруг, а оглянувшись, увидел – немцы бежали всюду, раскрыв рты, прижав автоматы к животу...

Сашка влетел в рощу, крича: "Немцы! немцы!", чтоб предупредить своих, и тут же столкнулся с ротным, схватившим его за грудь и прокричавшим прямо в лицо:

– Много их? Много?

– Много! – выдохнул Сашка.

– Беги передай – всем за овраг! Там залечь и ни шагу!

– А вы?

– Беги! – повторил ротный, и Сашка побежал.

"И верно, – подумал Сашка, – принимать бой здесь, когда немцы вошли уж в рошу, нельзя. А перед оврагом ручей и место открытое, там немцы, если попрут, на виду будут, там и прищучить можно, ну и вторая рота поможет".

В середине пяточка столпилась их битая-перебитая рота около раненного в ногу политрука. Тот размахивал карабином и кричал:

– Ни шагу! Назад ни шагу!

– Приказ ротного – отойти за овраг! – крикнул Сашка. – А оттуда ни шагу!

Этого будто И ждали, побежали резво, откуда силенки взялись, а политрук, побелевший, скривившийся от боли, растерянно глядел, как неслась схваченная паникой рота.

Один из бойцов, коренастый татарин, нагнулся над политруком, схватил под мышки и потянул к ручью. Сашка подмогнул ему, а потом, спешно подзарядив диск, бросился туда, где остался ротный. Опять столкнулись они, чуть не сбив друг друга с ног.

– Попридержи их! – прохрипел ротный и, пустив короткую, видать из последних патронов, очередь, миновал Сашку.

Схоронившись за ель, Сашка водил стволом автомата, пуская длинные очереди, но его выстрелы тонули в резких и звонких хлопках разрывных, которыми была наполнена роща. Да и обычные пули взрывали совсем рядом, сбивая ветви елей, взрыхляя землю вокруг. Стало Сашке страшновато – как бы не ранило! Тогда хана! Тогда к немцам попадешь запросто. И, не расстреляв всех патронов, Сашка метнулся назад.

За оврагом командовал сержант, останавливая не в меру разбежавшихся. Теперь-то к политруку подбежали человек пять и, пожалуйста, готовы нести в тыл его хоть на руках. Но он, ругаясь, гнал их от себя, посылая в оборону, а потом и подоспевший ротный разметал всех по местам.

Немцы к тому времени неожиданно замолкли – ни стрельбы, ни криков, ни свиста...

И рота, занявшая оборону – кто за деревом, кто за кустиком, кто в окопчике для стрельбы лежа (были тут такие, неизвестно кем копаные), – тоже притихла в напряженном ожидании, что вот-вот начнут выползть фашисты и пойдет уже настоящий бой. Лица были хоть и бледные, но живые, хоть и со сдвинутыми бровями и сжатыми ртами, но не испуганные, не такие, как при налетах и бомбежках, когда нету другого спасения, как вжаться в матушку-землю... Тут враг был рядом и, главное, их оружию доступный – и пуле, и гранате, и штыку, – а стало быть, от них самих зависит, как этот бой провести.

Но немцы не выходили... И тишина, такая неожиданная после грохота сегодняшнего утра, тяготно давила на них ожиданием неизвестного и страшного, что вот-вот должно сейчас произойти, и потому, когда взорвалась она не громом выстрелов, не криками немцев, а хриплым и жалким: "Братцы, помогите... Братцы..." – они растерялись, и даже ротный выкрикнул не сразу:

– Сержант! Все люди на месте?

– Вроде все... – не враз, а сперва приподнявшись и глазами пересчитав людей, ответил сержант не особо уверенно.

– Точнее!

Сержант еще раз огляделся, помедлил малость с ответом, но подтвердил:

– Все, товарищ командир.

– Провокация... – процедил ротный. – Передать по цепи: без команды не стрелять!

Сашка тоже вертел головой, стараясь разглядеть, все ли на месте, потому как голос этот ему знакомым показался, но ребята затаились, замаскировались, кто как мог, не разглядишь. Да и кто мог там остаться, такой огонь проспать, такой шум?

– Братцы... – донеслось опять оттуда, еще более хрипкое, придушенное, и снова тягостная тишина нависла над ними.

И вдруг другой голос – молодой, какой-то торжествующий и даже приятный на слух – прокричал им:

– Товарищи! Товарищи! Бросайте оружие, закурим сигареты! Товарищи...

– Ух, лярвы, – проскрежетал Сашка. – Знают, сволочи, что мы без курева...

А приятный голос продолжал уговаривать настойчиво:

– Товарищи! В районах, освобожденных немецкими войсками, начинается посевная. Вас ждет свобода и работа. Бросайте оружие, закурим сигареты...

Они продолжали слушать, ничего не понимая, стараясь разгадать, какую игру ведут с ними немцы, пока ротный не поднялся с перекошенным лицом и не закричал каким-то не своим голосом:

– Это разведка! Ребята, их мало! Это разведка! Их мало! Вперед! – и бросился через ручей без огляда, бегут ли за ним люди.

Но люди побежали, растянув рты в "ура" и недружно стреляя редкими выстрелами из винтовок и короткими очередями из ППШ, а за ними и Сашка, который, вскоре обогнав ротного, заглянул тому в лицо, увидел, как растерянно оно, потому как взводит он на ходу затвор автомата, а тот не стреляет. Смекнул Сашка, что ротный расстрелял свой диск, сообразить это не может и недоумевает. Отцепил он с ремня свой диск и сунул в руку ротному. Тот кивнул благодарно, и побежали они дальше... А за ними, шумно дыша, матюгаясь, топала их рота, а за нею и подоспевшая вторая.

Хоть и впервые Сашка столкнулся так близко с немцами, страха он почему-то не ощущал, а только злость и какой-то охотничий вспыл – настичь немцев непременно и перестрелять их, когда они на поле высыпаются и будут видны как на ладони, а он с того взгорка, у которого сегодня фрица искал, будет резать по ним тассирующими... Вот будет им закурка! А то "закурим сигареты"! Вот гады! В таком раже обогнал Сашка ротного, который задерживался, подтягивая людей, и проскочил уже больше половины их леска, не встречая ни немцев, ни их стрельбы ответной. Странно что-то... Но тут недолго и до края, а там уже будут на виду немцы, деться им некуда, обратный путь – через поле, другого нету. И жал Сашка из последних сил, пока не рассекся над ним воздух нарастающим, выворачивающим душу воем. И уже по нему понял Сашка: не одна, не две летят мины, а целая стая. И впрямь грохнули разрывы по всей роще, а особенно густо перед краем. Стали стеной перед Сашкой, огненными кустами. Пришлось брякнуться на землю, и, падая, понимал он: отрезают немцы их от своей разведки, которая спокойненько уходит сейчас восвояси.

И так обидно стало – уйдут, заразы, безнаказанно, – что Сашка поднялся и рванул через огонь. Когда бежал сквозь разрывы, страшно не было, а когда добежал до опушки и залег, пробрала дрожь. Отсюда и взгорок виден, и часть поля, но немцев не было. Куда же они, сволота, делись? Как сквозь землю провалились!

И Сашка уже просто так, чтоб выплеснуть злобу и обиду, пустил длинную очередь наобум, пока не заглох ППШ. Тут только опомнился – запасного диска-то нет, ротному отдал...

А минометный огонь подползал сзади, к опушке, и пришлось Сашке вперед податься, чтоб от него уйти. Опять он от роты оторвался, но что делать, немцев-то они упустили, как ни верти. Обидно очень. Только раз за эти месяцы выпал им случай поквитаться с фрицем, ан нет, не вышло! Матюгнулся Сашка, но что-то ему говорило, не все еще кончилось. Может, податься ему к тому взгорку, может, застанет еще немцев на поле? Но что он один да с пустым диском? Но когда услышал Сашка, как кричит сзади ротный, поднимая людей, видно стараясь прорваться с ними через огонь, решил и он продвинуться подалее и приподнялся... Но тут же просвистевшая над ним автоматная очередь бросила его наземь.

Откуда? Значит, тут еще немцы! Сашка быстро отполз чуток в сторону и осторожно поднял голову, чтоб оглядеться, и чуть было не вырвался у него вскрик: "Стой, мать твою! Хальт!" Впереди метнулось что-то серое и скрылось. Непослушными пальцами расстегнул Сашка чехол "лимонки", а когда вынул ее и прихватил пальцем кольцо, зашептал:

– Теперь не уйдешь, гад... Не уйдешь...

Что есть силы, царапая лицо, руки, поправляя непрерывно налезавшую на глаза каску, пополз он по направлению к немцу, но не прямо, а стороной, сообразив, что надо заползти тому в тыл, отрезать его от поля.

Немца было не видать. Залег, наверно, а всего скорее – ползет он к взгорку. Теперь кто кого упредит.

Кадровый боец, Сашка полз умело, не приподнимая зада, полз споро и потому решил: если немец лежит на месте, то должен он его уже обойти, а если тот тоже ползет, то сравняться по крайней мере. Приподняться Сашка боялся – немец, наверно, нет-нет да оглядывается. Если заметит, то резанет из автомата, и потому приходилось двигаться вслепую – какой обзор у ползущего?

То, что патронов у него нет, Сашка помнил и на что идет, понимал, но выхода-то другого не было, иначе упустишь немца, а скольких ребят из разведки положили, пока за "языком" лазили, Сашка знал.

Сполз он уже в низинку, и теперь, как немец на взгорке поползет, будет ему виден непременно. Как прихватить его только? Этого Сашка пока не знал.

Но немец выскочил вдруг в нескольких шагах от Сашки и, не оборачиваясь, рванул к пригорку. Не помешкав и секунды, бросился Сашка вдогон и хотел было метнуть гранату вслед – достал бы! – но раздумал, боясь прибить немца насмерть, а он, гад, живьем нужен. Судя по тому, что отстал фриц от своих, был он, видать, не очень-то расторопный... Эти мысли пробегали в Сашкиной голове, пока он за немцем гнался, но главной была: не дать уйти тому на поле – там его не взять, там оба на виду будут, там их обоих и угробят немцы запросто.

А до взгорка считанные метры! Пока они здесь, в низинке, надо и действовать! На Сашкино счастье, не обернулся фриц ни разу, знал, что за ним стена огня, что прикрывают его свои, а насчет Сашки думал небось, что прибил его своей очередью... Раздумывать больше некогда! Сделал Сашка хороший замах и бросил "лимонку" с расчетом, что упадет она впереди немца и тот, увидя ее, бросится наземь, тут Сашка и навалится...



Так и вышло... В несколько прыжков достиг Сашка лежащего немца и всем телом с размаху навалился тому на спину. В тот же миг рванулась граната, просвистели осколки, обсыпало Сашку землей, но он крепко прижал правой рукой фрицевский "шмайссер", а левой сбоку что

есть силы ударил немца по виску, благо был тот без каски, а только в пилотке. Но удар не оглушил немца, и стал он под Сашкой изворачиваться, пытаясь скинуть его. Вцепился тогда Сашка ему в шею, но одной рукой сильно не придавишь, и немец не переставал барахтаться. Но все же чуял Сашка: немец не сильнее его и, кабы не маета их двухмесячная, смял бы он его быстро. Пахло от немца каким-то чужим запахом: и табаком не таким, и одеждой другой, и даже потом другим... Лица его Сашка не видел, только затылок и шею, не особо толстую, которую он отпустил на секунду, чтоб трахнуть еще раз левой по виску. Но удара не получилось – дернулся тот головой в сторону, а рукой прихватил Сашкину руку и держал крепко, не вырвать... Теперь вправо немного немец повернулся и часть его лица показалась. Молодой был и курносый, чему Сашка удивился – в роще все больше длинноносые лежали. Обезручил Сашка – одна рука немцем прихвачена, вторая автомат и правую фрицевскую руку прижимает. Так, пожалуй, и изловчиться немец сможет, вывернуться из-под Сашки.

Хоть бы подоспел кто. Но звать на помощь Сашка не стал – метался сзади минометный отрезающий огонь, как бы не прибило кого, если начнут пробиваться. Беспокоился Сашка, конечно, за ротного. Тот у них такой, побежит первый на помощь, а Сашка ротному жизнью обязан, природнились за эти месяцы страшные.

Не успел Сашка это подумать, как услышал сквозь разрывы голос ротного:

– Сашка! Где ты? Сашка!

Не ответить было нельзя, и он откликнулся:

– Здесь я, командир! Фрица прижал!

– Иду! Не выпускай, Сашок!

"Догадался ротный, что без патронов я", – с теплотой подумал Сашка, но немец враз стал выворачиваться, пытаясь скинуть его, и пришлось рискнуть – оторвать руку от фрицевского "шмайссера"... Удар, который нанес Сашка правой по лицу немца, пришелся тому по носу, и хлынула кровь у фрица. Приослаб он как-то сразу, и, воспользовавшись этим, вырвал Сашка свою левую руку и стал ею бить немца опять по виску. Как только тот обмяк, бить перестал, но прижал увесистей, приговаривая:

– Ну что? Не ушел, зараза! Теперь все, капут!

Тяжело дыша, ротный упал справа от Сашки, вырвал к себе немецкий автомат, потом так же резко сорвал с пояса немца гранату с длинной деревянной ручкой и отбросил от себя.

– Теперь все, можешь отпустить... – сказал он Сашке, и тот отвалился от немца влево. И лежал фриц между ними уже обезоруженный, плененный уже окончательно. – Молодец, Сашок! Как это вышло? – спросил ротный.

– А шут его знает. Дуриком, товарищ командир. Я к краю проскочил – никого. Ну, думаю, упустили фрицев. Потом приподнялся... – Но тут Сашке пришлось умолкнуть.

Заметили их, видно, разглядели в бинокли, потому как перенесли огонек прямо на них. И лежать им теперь и не рыпаться. Одно успокоение – если прибьют, то с немцем заодно. Ближе рвались мины, взметая клочья земли, вырывая с корнями кусты, и все это носилось над их головами, потом падало, вжимая их еще больше в сухую, желтую, прошлогоднюю траву... Но все это было привычное, испытываемое ими каждодневно и потому особого страха не вызывало и не могло забить того радостного, что ощущалось, – ведь первого немца взяли!

Захотелось Сашке курить, прямо невмочь, и стал он сворачивать сигарку.

– И мне сверни, – попросил ротный.

Немец вроде с любопытством смотрел, как рвет Сашка газетку, насыпает махру, сворачивает недрожущими пальцами, спокойно прислонивает, и все это под огнем, когда то здесь, то там рвутся мины, свистят осколки. А Сашка, видя внимание немца, делал это еще неспешней, еще размеренней – дескать, плевать мы хотели на ваш огонь... Но еще большее удивление, если не сказать – недоумение, вызвало у немца то, как Сашка, вынув кресало и трут – "катушкой" они это называли, – начал выбивать искру, а она, как назло, то не выбивалась, то выби-

валась слабая, и трут никак не загорался. Тогда немец заворочался, полез в карман... Ротный его руку, лезшую в карман, прихватил, но тот зажигалку вынул и протянул ее лейтенанту.

Ротный обмундированием от Сашки не отличался: такая же телогрейка, грязью заляпанная, ремня широкого командирского ему еще не выдали, такое же оружие у него солдатское – автомат. Только маленький кубарь в петлицах отличает его, но немец рассмотрел.

Настала пора и Сашке разглядеть немца как следует. Был он вроде бы Сашкин одноклассник, лет двадцати – двадцати двух, курносый и веснушчатый, на вид прямо русский. Напомнил он Сашке лицом одного его друга деревенского – Димку. Тот чуть поскуластей был и поплотнее. С Димкой Сашка в борьбе не справлялся, и была у них либо ничья, либо бывал Сашка побежденным.

Ротный взял зажигалку, чиркнул, прикурив и дал огня Сашке. Улыбнувшись, сказал:

– Гляди, какие мы вежливые. – Повертел зажигалку, рассматривая, и подал ее обратно немцу.

– Хорошая зажигалка, – сказал Сашка и добавил: – Всё не кончат никак, заразы. Прибьют тебя свои же, фриц. Ферштеен?

Немцу было не до "ферштеен" – кровь из носа хлестала не переставая, и весь платок, который он прижимал к лицу, был красный. Есть такие, подумал Сашка, чуть до носа дотронешься – и сразу кровь. Видно, немец из таких. Правда, ударил Сашка, не жалея кулака, до сих пор костяшки пальцев ноют. Кабы не обстрел, перевернули бы немца на спину, может, кровь и перестала, но сейчас не до того – ужались в землю, аж до боли в животах, скорей бы пронесло...

– Может, рванем, товарищ командир? – предложил Сашка, но ротный покачал головой: порядочно до роши, могут пулеметом прихватить, место-то открытое.

Но вот наконец начинает сбавлять силу налет, редчают разрывы, тихнет вой над головой... Чавкнули в стороне две мины, видать последние, и затихло все.

Они пролежали еще немного, докуривая, потом ротный сказал что-то фрицу по-немецки и, прихватив его руку, резко поднялся, за ним немец, потом и Сашка. И все трое – ходу, без перебежек, в свою рошу. Хоть и нет там ничего – ни укрытий, ни окопов, ни щелей, только шалашики, – но по привычке к ней, словно дом родимый...

Влетели, запыхавшись, а их уж встречают. Стабунилась рота около сержанта, и стыда не заметно, что не помогла, а отлеживалась, пока Сашка с ротным немца брали. И сразу к немцу поближе, оглядывают, любопытничают.

Немец стоял потупившись, переминаясь с ноги на ногу, руки длинные болтались как-то потерянно, но страха особого не выказывал. Был он без шинелишки, в сереньком мундирчике с погонами, в коротких сапогах, довольно побитых, с аккуратной заплатой на голенищах. Роста он был повыше Сашки. Лицо в грязи и крови. Воротник мундира в красных разводах.

– Ранен он, что ли? – спросил один из бойцов.

– Да нет. Это я по носу его вдарил, – не без гордости ответил Сашка.

Подошел к ротному сержант, пробормотал виновато:

– Простите, товарищ командир. Сплошали. Отрезал немец. И хотим к вам пробиться, да через огонь не перескочишь. Больно густо бил.

– Ладно, – вроде добродушно ответил ротный, но сержант подошел ближе и шепнул что-то. Ротный нахмурился, помрачнел и scomандовал Сашке резко: – Веди немца ко мне.

Но тут один из бойцов, недавно к ним прибывший из пополнения, но быстро здесь освоившийся, озорной такой парень, сказал немцу с вызовом:

– Ну что, фриц... Манили нас сигаретами, так давай закуривать.

Немец понял и вытащил из кармана небольшой портсигар и протянул его ротному, но без суеты и подобострастия. Ротный отказался. Тогда Сашке. Но тот тоже отрицательно помотал головой – раз ротный не берет, и он не будет. Немец отвел руку с открытым портсигаром к

ребятам, те брезговать не стали, навалились, и фрицевский портсигар мигом опустел, да и было там сигарет восемь. Только один замахнулся на немца:

– Да иди ты, гнида, со своими сигаретами!

Остальные задымили вдумчиво, не спеша, оценивая немецкий табачок, и вроде не одобрили – крепости мало, с нашей "моршанской" не сравнить.

После этого повел Сашка немца к землянке ротного (выкопали ему недавно через силу, вышла не ахти, но все ж не шалашик) и там остановился. Немец все прижимал платок к носу, но, видимо, кровь пошла на убыль. Ротный пришел скоро, в глазах былой радости нет, озабоченный чем-то, смурной...

– Забрали у нас немцы одного раззяву, Сашок...

– Неужто? Это, верно, напарника моего, с кем на посту стоял... Когда "братцы" кричал, чую, голос знакомый, а чей, не пойму. Эх, негораздь какая!

– Это очень плохо, – сказал ротный серьезно.

– Достанется вам?

– Не в этом дело, – махнул рукой ротный и приказал немцу спускаться в землянку.

Сашка слышал, как балакают они что-то по-немецки. Потом крутил ротный телефон и разговаривал с помкомбатом.

Привалился Сашка к пеньку, вытянул ноги и только тут почувствовал охватившую тело усталость и тянущее изнутри ощущение пустоты в желудке, которое прихватывало их всех по нескольку раз на день.

Немец вылез из землянки красный, со сжатыми упрямо губами и какими-то ошалелыми глазами, а ротный, наоборот, побледневший и злой.

– Вот тебе рапорт начальнику штаба. Ну и сам расскажешь, как все было. И веди немца.

– В штаб?

– Да. И смотри, чтоб не случилось чего с немцем. Он мне главного ничего не сказал.

– Во паразит! – удивился Сашка.

– Перехитрили они нас. Пока мы, раскрыв рты, их болтовню слушали, остальные уходили с этим... раззявой. Этот фриц, которого ты взял, прикрывал переводчика. Вот такие дела. Понял?

– Вот гады, – пробормотал Сашка. – Кто бы мог подумать...

– Ну ладно, после драки кулаками не машут. Иди. – Ротный махнул рукой, а Сашка, сменивший уже диск в автомате, щелкнул затвором и скомандовал немцу "комм".

Немец поежился от звука взводимого затвора и пошел, поначалу часто оборачиваясь на Сашку, видно боясь, что тот может стрельнуть ему в спину. Сашка это понял и сказал наставительно:

– Чего боишься? Мы не вы. Пленных не расстреливаем.

Немец, опять посеревший, сморщил лоб, стараясь понять, что толкует ему Сашка, который, видя это, добавил:

– Мы, – ударил он себя в грудь, – ни хт шиссен тебя, – уставил палец на немца. – Ферштеен?

Теперь тот понял, кивнул головой и пошел резвее, посматривая по сторонам. Изредка недоуменно пожимал плечами, покачивал головой, а иногда чуть кривился в улыбке. Это, как понял Сашка, дивился он никудашной нашей обороне. А чего дивиться? Мог бы рассказать Сашка, как с ходу после ночного марша бросили их в атаку на Овсянниково, да не раз и не два... Потом каждый день ожидали – сегодня опять идти в наступление. Чего ж перед смертью мучиться, окопы в мерзлой земле колупать? Земля – как камень. Малой саперной лопатой разве одолеешь? Потом, в апреле, водой всю рошу залило, каждая махонькая воронка ею наполнилась. Ну, а сейчас, когда пообсохло малость, силенок уже нет, выдохлись начисто, да и смену со дня на день ожидаем. Чего тут рыть? Придут свеженькие, пусть и роют себе... Но

немцу этого не расскажешь, да и незачем тому это знать... Просто взял Сашка левее сразу, в глубь леса, чтоб миновать расположение второй роты, хотя и хотелось ему форснуть перед знакомыми ребятами своим немцем.

Здесь, в роще, много наших, советских листовок было разбросано, когда немцы еще тут находились. Пользовали их на завертку самокруток, на розжиг костров и еще кое для чего.

В одной они разобрались без труда: была там таблица, сколько немцы в нашем плену продуктов получают. "Брот" – столько-то, "буттер" – столько-то и всего прочего столько-то... Выходило богато! Особенно в сравнении с тем, что они сами сейчас здесь получали. Даже обидно стало. Начальника продснабжения бригады без матерка не поминали, но, когда в апреле концентрат-пшенку получили с отметкой на этикетке, что выпущена она в марте месяце, задумались...

Так вот сейчас попалась на глаза Сашке эта листовочка, поднял он ее, расправил и дал немцу – пускай успокоится, паразит, и поймет, что русские над пленными не издеваются, а кормят дай Бог, не хуже своих.

Немец прочел и буркнул:

– Пропаганден.

– Какая тебе пропаганда! – возмутился Сашка. – Правда это! – Немец еле заметно пожал плечами, а Сашка, не успокоившись, продолжал: – Это у вас пропаганда! А у нас правда! Понял? Мог я тебя прихлопнуть? Мог! Гранату под ноги – и хана! Валялся бы сейчас без ног и кровью исходил. А я не стал! А почему? Потому как люди мы! А вы фашисты!

– Их бин ниht фашист, – сказал немец.

– Ну да, рассказывай... Скажи – Гитлер капут! Скажи! – Немец молчал. – Вот зараза так зараза! Значит, фашист, раз молчишь.

– Их бин ниht фашист, – упрямо повторил немец. – Их бин дойче зольдат. Их бин дойче зольдат.

– Заладил – зольдат, зольдат... А ну тебя! – махнул рукой Сашка. – Что я, с тобой политбеседу проводить буду! Пропади ты пропадом!

Немец листовку все же не бросил, а, сложив аккуратно, положил в карман мундира.

Встречались на передовой и другие наши листовки. На одной была фотография девушки в белом платье с аккордеоном, а рядом парень в гражданском, и написано было: "Немецкий солдат! Этот счастливый час не вернется для тебя, если ты не сдашься в плен..." Ну и, конечно, что будет обеспечена жизнь, возвращение домой после войны и прочее... Эту листовку ротный им перевел. Вот эту бы немцу дать почитать, но что-то ее по дороге не попадалось.

То, что немец не стал повторять "Гитлер капут", вначале разозлило Сашку, но, поразмыслив, он решил: значит, немец не трус, не стал ему поддакивать. А раз так, победа над ним показалась Сашке более значительной. Разве уж таким дуриком он взял его? Все же проявил смекалку и красноармейскую находчивость. И, что ни говори, смелость. Ведь с пустым диском немца догонял.

Прошли они почти половину пути... Эти две версты до штаба последнее время Сашка без передыха не осиливал. Ходил всегда через вторую роту, там и делал перекур, чтоб поболтать со знакомыми. Правда, почти совсем не осталось однополчан-дальневосточников, один-два на роту...

И теперь, почувствовав слабинку в ногах, решил Сашка приостановиться и малость передохнуть. Должна быть тут недалеко большая воронка, а около – поваленное взрывом дерево. Вот на нем и посидеть можно. Забыл только Сашка, что рядом лежат там еще не захороненные убитые, а немцу смотреть на них ни к чему. Но было уже поздно сворачивать, подошли вплотную.

Воронка была доверху наполнена черной водой, в которой плавали желтые прошлогодние листья, обертки от махорки и табака "Беломор", какие-то тряпки, бинты. Тут можно и в порядок себя привести, обмыться да почиститься. В штаб же идут, не куда-нибудь.

Сашка первым набрал в ладони воды, плеснул на лицо и жестом пригласил немца последовать его примеру. Тот постоял, посмотрел на застойную воду, поморщился, потом взял свой окровавленный носовой платок, пополоскал его и стал вытирать лицо и воротник мундира. Сашка после умывания стал свою телогрейку отряхивать, грязь с брюк счищать и даже попытался налипшую глину с ботинок соскрести, и все норовил перед немцем быть, загоразивая телом полянку, на которой и лежали наши.

Немец, глядя на Сашку, тоже стал отряхиваться. Закончив приводить себя в порядок, Сашка присел на ствол поваленного дерева и сказал:

– Передохнем, фриц... – и стал наскребать из кармана махру, но немец, присевший рядом, не замедлил вытащить смятую пачку с несколькими сигаретами и предложил Сашке. – Попробуем вашего табачку, – не отказался Сашка.

Немец чиркнул зажигалкой, поднес огонек. Задымили...

"Жаль, немецкого не знаю, – подумал Сашка, – поговорил бы..." Многое можно было спросить у немца, но немецкие слова, что учил он в семилетке, все выветрились, призабылись, а если и всплывали в памяти какие, то не те, которые нужны. Вертелся в голове какой-то "Геноссе Купфербарт" из учебника, а вот спросить, какая у них в Овсянникове оборона, сколько народа, сколько орудий и минометов, слов нет. Не то учили, зубрили стишки какие-то. И для чего? А многое было Сашке любопытно: и как у немцев с кормежкой, и сколько сигарет в день получают, сколько рому и почему перебоев с минами нет, да мало ли что можно было спросить?

Про свое житье-бытье Сашка, разумеется, рассказывать бы не стал, хвалиться пока нечем. И со жратвой туго, и с боеприпасами. Но это все временное: далеко от железной дороги оторвались, распутица. Еще стояли в Сашкиных глазах газетные январские фотографии, когда гнали немцев от Москвы, – и трупы их замерзшие, и техника брошенная, и какие они были жалкие, в бабьи платки закутанные, с поднятыми воротниками жидких шинелишек... Какие у них шинели хлипкие, Сашка знает, просвечивают насквозь, с нашими не сравнить.

Тут немец кинул случайно взгляд на полянку, покачал головой и залопотал что-то по-своему, из чего только "шлехт... зэр шлехт" Сашке было понятно. Сам знает Сашка, что плохо, но нету силенок ребят хоронить, нету... Ведь себе, живым, окопчика вырыть не в силах. Но немцу об этом не скажешь, он и так нагляделся предостаточно на то, на что ему глядеть не положено.

А немец, подняв две веточки с земли, обломил их, соединил крестом, показывая Сашке, как хоронят они своих. Знает это Сашка! Видал в Малоярославце, как всю площадь центральную березовыми крестами немцы украсили.

Озлился Сашка и, вспомнив немецкое слово "генуг", прервал немца резко:

– Генуг! Хватит болтать! Не твоего ума дело! – Немец сразу осекся, умолк. – Ты мне скажи, чего с моим напарником, что в плен к вам попал, делать будете? Шиссен, наверное? Иль пытать будете?

Немец, кроме "генуг", ничего, конечно, не понял, но при слове "шиссен" вздрогнул, сжался, лицо побелело... И тут понял Сашка, какая у него сейчас страшная власть над немцем. Ведь тот от каждого его слова или жеста то обмирает, то в надежду входит. Он, Сашка, сейчас над жизнью и смертью другого человека волен. Захочет – доведет до штаба живым, захочет – хлопнет по дороге! Сашке даже как-то не по себе стало... И немец, конечно, понимает, что в Сашкиных руках находится полностью. А что ему про русских наплели, одному Богу известно! Только не знает немец, какой Сашка человек, что не такой он, чтоб над пленным и безоружным издеваться.

Вспомнил Сашка, был у них в роте один больно злой на немцев, из белорусов вроде. Тот бы фрица не довел. Сказал бы, при попытке к бегству, и спросу никакого.

И стало Сашке как-то не по себе от свалившейся на него почти неограниченной власти над другим человеком.

– Ладно уж, – сказал он, – кури спокойно. Раухен.

Немец сразу в лице изменился, оживел, бледнота сошла... Курил он мелкими, неглубокими затяжками, не как они – захлеб, вдыхая дым что есть мочи, чтобы продрало до самого нутра.

Интересно, доволен фриц, что в плен попал, что отвоевался? Или переживает? В плену, ясно, не радость, но живым-то останется.

Что касается самого Сашки, то он плена не представлял. Лучше руки на себя наложить. Но можно и не успеть. А если раненый, да без сознания? Вот замешкался бы он утром с этими валенками, мог бы и прозевать немцев, могли бы и прихватить его. Даже дрожь пробежала по телу – бр-бр...

Размышляя об этом, Сашка искоса поглядывал на немца. Любопытно ему, кем этот фриц на гражданке был. Может, тоже из деревни? Припомнив, как по-немецки "рабочий" и "крестьянин", он спросил:

– Ты кем был? Арбайтер или бауэр?

– Штудент.

– Вот оно что... – протянул Сашка. Значит, вроде ротного их. Выходит, грамотный немец, а в Гитлере не разобрался. – Эх ты... штудент, а пошел с фашистами...

– Их бин ниht фашист, – как-то устало перебил его немец.

– Это я уже слышал. Ну ладно, отдохнули, и хватит, – поднялся Сашка. – Пошли.

Как ни старался Сашка вести немца так, чтоб не попадались убитые, нет-нет да натыкались они на них, и опять стыдно было Сашке, что незахороненные, словно сам в чем-то виноватый.

При подходе к Чернову, где штаб расположен, увидел Сашка на опушке свежую могилку – настоящую, закиданную лапником и даже с венком из еловых веток. Звезды фанерной, правда, не было (не успели, видно), но могилка как могилка, будто в мирное время. Приостановился Сашка. Кого же похоронили так? Ладно, дойдем, узнаем у ребят...

В деревне было пусто... И верно, рассказывать по ней днем не очень будешь. На пригорке она и прямо напротив Усова, что немцем занято, и просматривается оттуда куда хорошо. Каждый раз, приходя сюда то с донесением, то когда раненых помогал приносить, примечал Сашка, как уменьшалась и без того малая эта деревенька... Вот и сейчас увидел: не стало сарая, где они первую ночь укрывались, дома крайнего тоже нет, одни головешки, ну и воронок поприбавилось.

Всю дорогу, пока вел сюда немца, где-то на самой краешке души затаенная хоронилась у Сашки надежда: а вдруг его с немцем в штаб бригады отправят? Далекое это, за Волгой, туда-обратно целый день протопаешь, но могла быть у него тогда *встреча*, о которой мечтал и в глубине сердца держал все эти месяцы. Поэтому сейчас, подходя к штабу, где могло все решиться, Сашка забеспокоился. Хоть и не любил он ни у кого ничего просить, тут решил даже попроситься, как бы в награду за то, что немца полонил.

Изба, в которой штаб батальона находился, была пока целехонькая, только рядом две воронки здоровые – это, наверно, после бомбежки самолетной, что недавно была. На крыльце сидел боец с винтовкой, покуривал, греясь на солнышке. Увидев Сашку и немца, вскочил:

– Гляди, ребя, фриц!

Из дома выскочили несколько человек связистов, уставились.

– Это ты его? – спросил один.

– Ну я, – вроде неохотно, но с достоинством ответил Сашка. – Мне к начштаба. Тут он?

– Нет никого. Всех в штаб бригады вызвали.
– Куда же мне его? – кивнул Сашка на немца.
– Ждать придется... Или к комбату веди, он у себя. Только, понимаешь, больной он сейчас, не в себе... – сказал один. – Знаешь, где блиндаж его?
– Знаю.

– А может, не стоит капитана тревожить? – вступил другой. – Несчастье вышло: убило вчера Катеньку нашу. Переживает комбат...

– Значит, ее могилка на опушке? – спросил Сашка упавшим голосом. – Жалость-то какая...

– Ее. Когда хоронили, страшно на комбата глядеть было – все губы покусал, почернел весь.

Вспомнил Сашка, как на марше, когда они с ротным подтягивали отстающих в хвосте колонны, подъезжал комбат на белом жеребце, сам в белом полушубке, к штабным саням и ласково справлялся, не замерзла ли, сидевшую там сестренку из санроты... Катей ее вроде звали. Эх, жалко дивчину! Очень жалко. И зачем только берут их на войну? Неужели без них не обойтись? Каково им среди мужиков-то? Хорошо, что остальные девчата в тылу, за Волгой, но и там может всякое приключиться. Засосало у Сашки под ложечкой – ничего он про Зину не знает... Последний раз на разгрузке свиделись, попрощались, и все... А времени два месяца прошло – для войны время огромное.

– Ладно, поведу к комбату, – решил Сашка.

У комбатовского блиндажа, не особо крепкого, тоже, видать, на скорую руку сделанного, сидел на бревнышке, полуразвалясь, комбатов связной – парень расторопный, но нахальный (знал его Сашка, из одной дальневосточной части они были). Лицо красное, загорелое, наверно, часто на солнышке припухает, глаза полужакрытые и будто хмельные.

Поднялся он лениво, поправил на груди автомат, скользнул взглядом по немцу небрежно (словно видал их каждый день) и процедил:

– Привет.

– Здравствуй, – ответил Сашка, уязвленный немного равнодушием связного к его немцу.

– К комбату, что ли?

– К нему.

– Нельзя! – резанул тот и сделал шаг к двери.

– Я ж с немцем, разве не видишь?

– Нельзя!

– Чего заладил? Пойди доложи. Разведка немецкая сегодня на нас нагрянула. Выбили мы их и вот фрица взяли. Доложи.

– Не велел комбат никого пускать. Понял?

– Понял. Знаю, что у вас. Но куда мне с фрицем? Может, его в бригаду вести надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен.

– Ты его, что ли, взял?

– А кто же?

– Кроме тебя, народу на передке нет, что ли, чудило?

– Я самолично. Только под конец ротный подмогнул.

– Герой! – усмехаясь и, видно, завидуя, процедил связной.

– Может, и не герой, а повозиться пришлось. Я ж его с пустым диском, брат, в рукопашной. Ну, иди доложи.

– Фриц-то не из здоровых, – оглядывая немца, сказал тот. – Такого невелико дело взять.

Сашка озлился, хотел было съязвить насчет мурла, которое наел тот на тыловых харчах, да раздумал.

– Иди доложи. – Уж очень надеялся Сашка, что пошлет его комбат в бригаду немца вести, потому и настаивал.

– Уж так и быть, – снизошел связной и стал спускаться в блиндаж.

Немец что-то забеспокоился, вытащил свои сигареты, быстро прикурил, жадно затянулся несколько раз. Дал сигарету и Сашке.

– Ты не робей, – решил подбодрить немца Сашка. – Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял?

Немец, разумеется, не понял, но одернул мундир, подтянул пояс, поправил пилотку, а лицо его, несмотря на суетливость движений, наоборот, как-то поспокойнело, отвердилось, хоть и побледнело. Губы упрямо сжались, на лбу складка наметилась.

– Проходите, – не поднимаясь, а снизу пригласил связной.

В блиндаже было совсем темно, только керосиновая лампа с разбитым стеклом тускло мерцала в углу стола. После света Сашка не сразу и разглядел комбата, сидевшего в глубине в наброшенной на плечи шинели. И, разглядев, не узнал. Всегда чисто выбритый, подтянутый, в белом подворотничке, сейчас комбат имел вид другой – обросший, со спутанными волосами, лезшими ему на лоб, в расстегнутой гимнастерке, согнутый, с отвисшей нижней губой и черными кругами около глаз, необычный и страшноватый.

– Докладывайте, – приказал он негромко, взглянув на Сашку и немца мертвыми, пустыми глазами.

Сашка вытянулся, набрал воздуха, но что-то мешало ему... Он откашлялся, скользнул взглядом по столу, а там – разбросанные окурки, куски черного хлеба, бутылка водки, кружка, банка консервов початая, раскрытая планшетка с картой, и понял, что вот этот беспорядок на столе и вид самого комбата мешают ему начать.

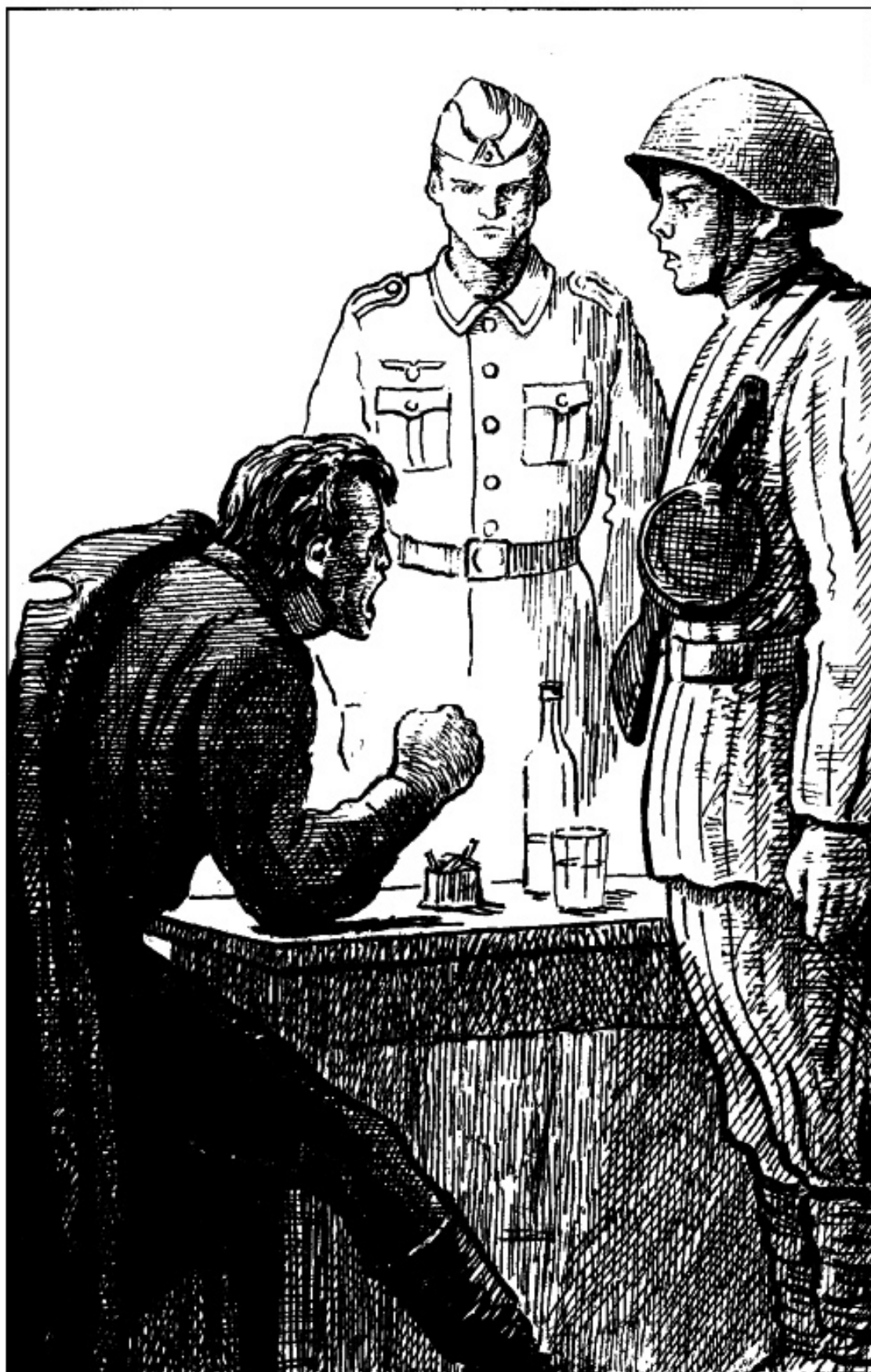
– Я слушаю. – Комбат отпил из кружки.

Сашка вдохнул еще раз и громко начал с того, как обрушили на них немцы утром огонь невиданной силы, как...

– Тише, – перебил капитан, поморщившись.

Это сбило Сашку, и он скомкал все остальное – как навалилась неожиданно немецкая разведка, как пришлось, опасаясь окружения, отойти за овсянниковский овраг...

Тут комбат позвал к столу и велел показать на карте, откуда пришла разведка. Сашка показал и, закончив доклад, передал рапорт ротного.



Комбат прочитал записку, вскинулся вдруг, поднялся резко во весь рост, стукнувшись головой о потолок, выругался и, ударив кулаком по столу, закричал:

– Разини! Своего проморгали! А вы тут заливаете – выбили, отбили, в плен взяли... А своего упустили! Судить буду ротного! Судить! – Он опустился на стул, хлебнул еще из кружки, смятая "беломорину", сломал ее, взял другую, закурил и уставился на немца.

Тот вытянулся по-солдатски и вначале глядел на комбата прямо, но потом, не выдержав упорного, тяжелого капитанова взгляда, вздрогнул, потупился и отвел глаза.

Капитан тем временем поднялся, вышел из-за стола и медленно надвигался на немца. Сашка глянул на комбата, на побелевшие его глаза, на сведенные губы, и пробрала его дрожь – такого взгляда не видел он у людей никогда.

– Немец... – прохрипел капитан, подойдя вплотную. – Вот ты каков, немец...

Тот отшатнулся.

Комбат не переставал смотреть на немца немигающими мутными глазами, пока тот не отступил назад, прижатый взглядом капитана к стене блиндажа.

– Сейчас ты мне все расскажешь, фашист, все... – продолжал капитан. – Толик! Где разговорник?

Ординарец бросился к топчану, вынул из-под матраца русско-немецкий словарь и подал комбату. Тот отошел к столу, сел и буркнул:

– Выйдите оба!

Сашка вышел из блиндажа мало сказать расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось. А думалось: порадуетса комбат "языку", похвалит Сашку, поблагодарит. Не исключал он и стопочку преподнесенную, и обещание награды... ан нет, по-другому все обернулось. И за ротного беспокойно стало: неужто и вправду судить будут? Сержант же подвел, не смог с перепугу людей сосчитать. Кабы хватились сразу, разве отдали бы? Поднялись бы в атаку, отбили бы Сашкиного напарника... Да... и комбат нехорош сегодня...

Начальство Сашка уважал. И не только потому, что большинство командиров были старше его по возрасту, но и потому, что понял он за два года кадровой – в армии без этого нельзя. И теперь ему было неловко за комбата, что не в своем он виде, хотя горе его понимал... Понимал он и ненавидящий взгляд комбата, сверливший немца, хотя у самого Сашки ненависть к фашистам почему-то не переносилась на этого вот пленного...

Вот когда поднялись они из-под взгорка – серые, страшные, нелюди какие-то, – это были враги! Их-то Сашка готов был давить и уничтожать безжалостно! Но когда брал он этого фрица, дрался с ним, ощущая тепло его тела, силу мышц, показался он Сашке обыкновенным человеком, таким же солдатом, как и он, только одетым в другую форму, только одураченным и обманутым... Потому и мог разговаривать с ним по-человечески, принимать сигареты, курить вместе...

Привалившись на бревнах около блиндажа, опять Сашка почувствовал, как сморила его усталость – обмякло тело, залипли веки, зазевалось. И захотелось ему растянуться прямо тут и вздремнуть хоть минутно. Сказались и ночь неспаная, и напряг во время обстрела, и драка с немцем из последних сил... Чуток попротивившись сну, он все же не выдержал, прикрыл глаза и провалился, ушел от тяготы этого утра.

Очнулся он, когда тряхнул его за плечо комбатовский ординарец:

– Слушай! Хватит дрыхнуть! Не говорит твой немец ничего. Понял? Ни номера части, ни расположения. Ничего, сука, не говорит.

Из блиндажа неясно раздавался хриплый капитанов голос, кричавший на немца.

Сашка протер глаза.

– Он и ротному ничего не сказал. Такой немец... – проговорил Сашка, подавляя зевоту.

– Ничего, – продолжал Толик, – у капитана заговорит. А не расколется – к стенке!

– Чего городишь? – уже проснувшись окончательно, встревожился Сашка.

– А чего с ним цацкаться? Раз молчит, туда ему и дорога.

– А ты бы заговорил, если бы в плен попал?

– Чего равняешь?

– Так он тоже присягу небось принимал.

– Кому? – возмутился Толик. – Гитлеру-гаду! Ты что-то запутался, герой. – Он снисходительно похлопал Сашку по спине. – Нельзя нас с ними равнять. Понял?

– Именно, – сказал Сашка. – Раз они гады, значит, и мы такими должны быть? Так, что ли, по-твоему? Ты листовки наши для немцев читал?

– Нет.

– То-то и оно. А там написано: обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны. Вот так.

– Так это если добровольно сдастся, если расскажет все. А этого ты в бою взял, и говорить он, сука, ничего не желает.

– Ладно, дай покурить лучше. Труха у меня одна, – попросил Сашка, а у самого зависло в сердце что-то тяжелое от этого разговора.

– Держи. – Толик протянул туго набитый кисет с вышитой надписью: "Бей фашистов".

– У вас тут с табачком, видать, получше.

Сашка оторвал газетки побольше и махры прихватил не стесняясь. Цигарка свернулась на славу, раза три можно прикладываться.

– Фриц сигаретами угощал, но не тот табачок – до души не доходит, – добавил Сашка, затянувшись во всю силу, и, выдыхнув дым, спросил: – Откуда кисет такой?

– Подарок из тыла. Прислали тут посылочки с Урала.

– До нас что-то не дошло, – заметил Сашка, возвращая кисет, а потом спросил: – Много капитан выпил?

– По нему не поймешь. Как Катю вчера утром похоронили, так и начал. И ночью не спал, небось подкреплялся.

– Как убило-то?

– Шла из штаба в блиндаж, и убило... У нас здесь тоже потерь хватает.

– Ну, с нашими-то не сравнить.

– Не скажи... Вы сами виноваты, капитан говорит, окопов вырыть не можете.

– Тебя бы туда. Рассуждать легко, а мы еле ноги таскаем, не до рытья, – стало Сашке обидно. Что они, враги себе? Кабы могли, разве не выкопали бы?

Никто на передовой особо в душу к Сашке не лез, никто особо не интересовался, что чувствует, что переживает рядовой боец Сашка, не до того было. Только одно и слышал: Сашка – туда, Сашка – сюда! Сашка, бегом в штаб с донесением! Сашка, помоги раненого нести! Сашка, этой ночью придется в разведку! Сашка, бери ручной пулемет!

Только ротный, бывало, перед тем как приказать что-нибудь, хлопал Сашку по плечу и говорил: "Надо, Сашок. Понимаешь, *надо*". И Сашка понимал – надо, и делал все, что приказано, как следует.

Но на все, что тут делалось и делается, было у него свое суждение. Видел он – не слепой же! – промашки начальства, и большого и малого, замечал и у ротного своего, к которому всей душой, и ошибки, и недогадки... И с распутицей этой, на которую теперь все валят, что-то не так. Разве весна негаданная пришла? Разве зимой припасов нельзя было заготовить? Просто худо пока все, недостаток во всем, и воевать, видать, не научились еще. Но в том, что вскорости все изменится к лучшему, Сашка ни на минуту не сомневался.

От дыма, что глотал густо, кружило в голове, и хотелось ему сейчас только одного – поскорей бы с немцем все кончилось и отпустили бы его обратно в роту. На то, что в штаб бригады направят, уже не надеялся – не та обстановка сложилась.

– Может, идти мне можно? Разберетесь тут с немцем без меня? – спросил он у Толика.

– Разобраться-то разберемся, будь спок, – насмешливо осклабясь, ответил тот. – Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания твоему ротному с тобой отправит.

– Муторно что-то... – вздохнул Сашка.

Из блиндажа слышался только комбатов голос, а немца словно и не было. Молчит, зараза! А чего молчит? Рассказал бы все, выложил начистоту, и отпустил бы его капитан. Упрямый немец. Зло на него поднялось у Сашки – все задумки из-за него, гада, пошли прахом. И вообще неурядь вышла – и дивчину эту убило, и комбат из-за этого не в себе, и в штабе никого, и немец не раскалывается... Всё к одному.

Наконец затихло в блиндаже, и потянулась тишина... Сашка уж полцигарки искурить успел, а оттуда ни слова. Думает комбат чего-то...

– Ко мне! – расколлот тишину капитанов голос.

И Сашка с ординарцем, слетев мигом с лестницы, оказались опять в полутьме блиндажа.

Желтый свет керосиновой лампы освещал капитана сбоку, резко обозначая морщины у губ и прямую складку у переносицы. На столе лежал русско-немецкий разговорник и зловеще поблескивал вороненым металлом капитанов пистолет. Немец стоял в тени, и когда Сашка, проходя вперед, коснулся его плеча, то почувствовал, как бьет немца дрожь.

У капитана ходили желваки на скулах и играли руки. Он стоял – большой, в свалившейся с одного плеча шинели и оттого какой-то скособоченный, странно непохожий на себя прежнего, прямого и собранного. Он грузно опустился на табуретку, вытирая пот со лба и откидывая одновременно назад волосы, и тихо, словно бы через силу, выдавил:

– Немца – в расход.

У Сашки потемнело в глазах и поплыло все вокруг – и стены блиндажа, и лампа, и лицо комбата, даже качнулся Сашка... Но потом, придя в себя, бросился к немцу, схватил того за грудки и закричал:

– Да говори ты, гад! Говори! Убивать же будут! Понимаешь? Говори, чего капитан спрашивает! Говори, зараза!

Немец, обмякший, недвижимый, только мотнул головой и закусил губу.

– Не понимаешь? Шиссен будут! Тебя шиссен! Говори...

– Прекратить! Не ломайте комедии! – крикнул капитан и, размяв чуть дрожащими пальцами папиросу, уже спокойнее добавил: – Выполняйте приказание.

– Вы мне, товарищ капитан? – упавшим голосом спросил Сашка, отпуская немца.

– Вам, – негромко сказал капитан, а Сашке показалось, будто гром с неба. – По исполнении доложить. Толик, пойдешь с ними, проверишь.

– Есть проверить! – вытянулся тот.

– Товарищ капитан... – начал заикаться Сашка. – Товарищ капитан... Я ж обещался ему... Я листовку нашу ему показывал, где все сказано... Где у тебя листовка? – подался он опять к немцу. – Где папир, которую тебе дал? Покажи капитану!

Немец, возможно, и понял, но даже рукой не шелохнул, чтоб достать листовку. Тогда Сашка рванул карман его мундира, выхватил оттуда сложенную аккуратно бумажку и ринулся к комбату:

– Вот она, товарищ капитан! Там сказано... Вы ж по-немецки читаете... Вот она!

Комбат листовку не взял, отстранил ее от себя будто брезгливо, и обескураженный, растерянный Сашка сунул ее опять в карман немцу.

– Сколько у вас в роте было человек? – спросил капитан, упершись в Сашку тяжелым взглядом.

– Сто пятьдесят, товарищ капитан.

– Сколько осталось?

– Шестнадцать...

– И ты гада этого жалеешь?! – гаркнул капитан, переходя на "ты".

– Я... я... не жалею... – У Сашки сметало рот, занемели губы, и он еле-еле выдавливал слова.

И сказал он неправду. Жалел он немца. Может, не столько жалел, сколько не представлял, как будет вести его куда-то... К стенке, наверно, надо (читал он в повестях о Гражданской войне, что к стенке всегда водили расстреливать), и безоружного, беспомощного стрелять будет... Много, очень много видал Сашка смертей за это время – проживи до ста лет, столько не увидишь, – но цена человеческой жизни не уменьшилась от этого в его сознании, и он пролепетал:

– Не могу я, товарищ капитан... Ну, не могу... Слово я ему давал, – уже понимая, что ни к чему его слова, что все равно заставит его капитан свой приказ исполнить, потому как на войне они, на передовой и приказ начальника – закон.

– Какое право имел обещать что-то? И кому – фашисту!

– Он не фашист, – вырвалось у Сашки.

– Выпить бы ему, товарищ капитан, перед этим, – осторожно вмешался Толик, чуть побледневший и наглость свою малость утративший.

Но капитан оставил это без внимания – и Сашкин возглас, и предложение Толика. Глядя на Сашку в упор, отчеканил:

– Повторите приказание!

Сашка утер рукавом липкий пот со лба... Он видел: пошло дело на принцип, и капитан от своего не отступится, придется покориться. Но повторить приказание просто физически не мог, не раскрывался рот, залип язык...

– Повторите приказание! – уже раздраженно и повысив голос, сказал комбат и потянулся к пистолету.

Толик дернул Сашку за полу ватника – не валяй дурака, дескать, а то плохо будет. Так понял его жест Сашка.

– Я жду! – прикрикнул капитан и положил ладонь на ручку ТТ.

Ординарец дернул Сашку еще сильнее, и Сашка, уже обессиленный этим неравным поединком, прошептал чуть слышно:

– Есть, немца – в расход...

– Не слышу! – перебил капитан.

– Есть, немца – в расход, – погромче повторил Сашка.

– О выполнении доложить!

– О выполнении доложить...

– Теперь сначала и как следует!

– Есть, немца – в расход. О выполнении доложить.

– Выполняйте! – Капитан отвернулся от Сашки и сел.

– Есть выполнять. – Сашка попытался повернуться по-строевому, но не получилось, не было силы в ногах, и услышал вслед:

– Отставить!

Пришлось еще раз. Старался Сашка прищелкнуть каблуками, но заляпанная грязью ботинки звука не давали, и ожидал он опять "отставить", но комбат сказал только:

– Выполняйте.

Сказал тихо, каким-то усталым, без прежнего напора голосом.

Когда Сашка повернулся, немец, понявший все, без Сашкиной команды пошел к выходу, тяжело топя ногами по лестнице. За ними вышел и Толик.

– Ты чего ломался? – бросился он на Сашку. – Из-за этого гада жизни лишиться хотел? Видишь же, не в себе капитан. Такой, он все может...

– Ладно, не суети... – Сашка неверной рукой стал выбивать искру и прижег свой чинарик. – Обещал я жизнь немцу. Понимаешь?

– Чокнутый ты, что ли? Обещал он! Тоже мне, командующий нашелся! Кто мы с тобой? Рядовые! Наше дело телячье... Приказали – исполнил! А ты...

– Не суети, говорю. – Сашка глубоко втянул в себя дым, даже раскашлялся и сказал немцу: – Кури тоже...

Тот вытащил свои сигареты и, видно забыв про свою зажигалку, потянулся к Сашке прикурить дрожащей сигаретиной. И тут столкнулся Сашка с его глазами...

Много пришлось видеть на передовой помиравших от ран ребят, и всегда поражали Сашку их глаза – посветлевшие какие-то, отрешенные, уже с того света будто бы... Умирили глаза раньше тела. Еще билось сердце, дышала грудь, а глаза... глаза уже помертвевшие. Вот и у немца сейчас такие же... Отвел Сашка взгляд, потупился.

А капитанский ординарец, когда немец сигареты доставал, ухватил цепким взглядом часы на его руке и уже не отпускал.

– Боишься ты, что ли? – сказал он, вскинув автомат. – Давай я.

– Не балуй! – ударил Сашка рукой по стволу ППШ. – Горазды вы тут... Ты бы взял его наперед, а тогда...

– Да я пошутил, – поспешил Толик.

– Нашел чем...

– Куда поведем фрица-то?

– Не знаю.

– К сараю пойдём, в сторону.

– погоди, дай человеку докурить.

– Слушай, а куда ты трофеем денешь? – спросил наконец Толик, не сводя взгляд с часов на руке немца.

– Какой трофеем? – не понял Сашка.

– Часики фрицевские.

– А, часики... Что ж, трофеем законный, в бою добытый... Ротному отдам. Ему без часов нельзя, а свои разбил он намертво при обстреле.

Толик помялся немного, потом сказал вроде небрежно:

– Я бы тебе буханку черняшки дал... за часики-то...

– Нет, ротному отдам.

– Обойдется твой ротный... Махры могу пачку в придачу. Идет?

Сашка слушал вполуха, а сам соображал, что же такого придумать? Хоть и повторил он приказание комбата, но до сих пор представить не мог, как выполнять его будет. И решил он, что надо наперво отделаться от этого Толика, чтоб не мешался. И он закинул:

– Может, я тебе часики и за так отдам.

– За так? – удивился тот.

– За так, – повторил Сашка. – Только не мешайся. Договорились?

– А чего я тебе мешаю? Я приказ получил – проверить.

– Потом и проверишь. А я хочу без тебя это *дело* сделать. Понял?

– Как хочешь. Мне смотреть на это – удовольствия никакого.

На немца Сашка не глядел. Не мог глядеть. Однако, пересилив себя, повернулся к нему и хотел было подойти и часы снять, но увидел, что немец, видно догадавшись, о чем речь у них шла, стал сам ремешок у часов расстегивать, только не мог – дрожали пальцы. Остановился тогда Сашка.

– *Потом* тебе часы отдам... Понимаешь? – бросил он Толику.

– Понимаю, – тихо ответил Толик, а сам в лице изменился, побледнел, сробел видно, и сказал немцу как бы с сожалением: – Эх, фриц, надо было шпрехен. Понимаешь, шпрехен. А теперь на себя пеняй.

Немец его не слушал. Он вынул из кармана листовку и стал рвать ее на мелкие куски, бормоча что-то, и только слово "пропаганден", повторенное не однажды, понял Сашка. Хотел он было крикнуть: "Не смей нашу листовку рвать! Не смей!" Но... не крикнул, только кольнуло сердце – сроду никого он не обманывал, а тут обманул. И в чем? В самом главном, чего уже не поправишь.

– Пошли, – сказал он немцу.

Медленно, тяня шаг, двинулись они к полуразрушенному сараю – впереди Сашка, за ним немец, а Толик в хвосте. Сарай этот Сашке памятен. Ночью после самого первого их наступления дали немцы огня по тылам, и под этим сараем погребены человек двенадцать его однополчан-дальневосточников. И до передка не дошли ребята, и все молодые, Сашкины однолетки. У сарая до сих пор трупным духом веет. Остановились...

– Здесь и решать будешь? – спросил Толик.

Но у Сашки свои мысли.

– Нет, больно близко к штабу... Вон туда поведу, – показал Сашка на пепелище, черневшее по обеим сторонам большака, что проходил в полуверсте от Чернова. – А ты меня здесь подождешь.

– Чего ты крутишь, герой? – подозрительно оглядел Толик Сашку. – Надеешься, одумается капитан? Нет, брат, он не такой. Что сказал...

– Подождешь? – перебил Сашка.

– Подожду, – как-то странно ответил тот, оглядывая Сашку.

Что делать и как быть, Сашка еще не решил. Разные мысли метались, но ни одной стоящей. Может, встретится кто из начальства и приказ комбата отменит (по уставу последнее приказание выполняется), может, комиссар и начштаба вернутся, тогда все в порядке будет – отменит комиссар приказ этот непременно... Может быть, обойти это разорище, что на большаке, и, минуя Черново, в роту податься и к помкомбата сразу?... Ничего-то пока Сашка не решил, но знал одно – это еще в блиндаже, когда приказ повторял, в голове пронеслось, – есть у него в душе заслон какой или преграда, переступить которую он не в силах.

– Побудь с немцем чуток, я мигом, – попросил он ординарца.

– Куда ты?

– Только немца не тронь! А то часики тебе не понадобятся, – пригрозил Сашка больше так, чем по делу. Видел он, что Толик похвалиться любит, а сам слабак.

– Валяй, иди. Не трону, не бойся.

Сашка затрусил к штабу батальона – авось пришел кто, может, дежурный есть?

И верно, сидел на перилах крыльца незнакомый лейтенант, видать из пополнения. Сашка к нему. Козырнул и напрямик:

– Такое дело, товарищ лейтенант. Немца я в плен взял, к комбату привел, а тот...

– Что?

– Ну, не в себе комбат немного... И приказал немца – в расход.

– Ну и что вы хотите?

– Нужен же немец... Отмените его приказание.

Лейтенант удивленно вскинул голову, подумал и спросил:

– Допрашивал его комбат?

– Допрашивал вроде, – в подробности Сашка вдаваться не стал.

Лейтенант опять подумал, провел рукой по подбородку.

– Мда... Не могу я, брат, отменять приказание комбата, когда он здесь, на месте. Понял?

Не могу.

Сашка махнул рукой досадливо и побежал обратно, но вскоре на шаг перешел, а потом и остановился совсем. Не забежать ли в санчасть, там военврач – мужик хороший и по званию

тоже капитан, его попросить за немца вступиться? Да нет, едва ли тот станет. Строг комбат, все его побаиваются, повернет кругом, и весь разговор.

– Ну как? – усмехнулся Толик. Видел он, как Сашка с лейтенантом разговаривал.

– Дожди меня здесь. Приду, вместе на доклад пойдем.

– Ну, хорошо. – Толик с любопытством смотрел на Сашку. Понял он, хочет Сашка как-то выкрутиться, но ничего у него не получится. – Смотри только... Ты капитана не знаешь, он на руку скорый. Учти. Из-за тебя и я рискую.

– Не пугай. С передка я. Пошли, – кивнул Сашка немцу.

Шел Сашка позади немца, но и со спины видно – мается фриц, хотя виду старается не подавать, шагает ровно, только плечами иногда передергивает, будто от озноба. Но когда поравнялся с ним Сашка, кинул взгляд, лица немца не узнал – так обострилось оно, построжало, посерело... Губы сжатые спеклись, а в глаза лучше не глядеть.

Если раньше относился Сашка к своему немцу добродушно-снисходительно, с эдакой жалостливой подсмешкой, то теперь глядел по-другому, серьезней и даже с некоторым уважением – блюдет свою солдатскую присягу фриц, ничего не скажешь. Только обидно, что зазря все это, ведь за неправо дело воюет! И захотелось Сашке сказать: "Эх, задурили тебе голову! За кого смерть принимать будешь? За Гитлера-гада! Эх ты..." – однако не сказал, понимая: не до слов сейчас, не до разговора, когда такое страшное впереди.

На половине пути немец остановился и попросил покурить. Сашка разрешил, и они остановились. Закурив, немец опять стал совать пачку с сигаретами и зажигалку Сашке в руку.

– Не надо, себе оставь, – мотал головой Сашка, отказываясь, но фриц совал и совал.

Хотел было сказать Сашка, что сгодятся еще ему сигареты, но не сказал – не может он его зря обнадеживать, может, и верно, не нужно будет курево немцу. Пришлось взять и сигареты, и зажигалку.

Пока стояли, обернулся Сашка – Толика уже было не видно, да и Черново лишь крышами виднелось. А погорелая деревня, которая на большаке, почти рядом. Если в штаб бригады идти, надо этот большак пересечь и по полю до леса, а через лес к Волге. И только за ней уж Бахмутово будет. Далекое. Если до этого была у Сашки мысль вести немца в штаб бригады, то теперь отошла – нет у него права без приказа в такую даль идти, дезертиром могут счесть запросто.

Немец шаг сузил, а Сашка подгонять не стал. Так и шли еле-еле, а куда спешить?...

Немец всю дорогу слюну глотал часто, и дергался у него кадык, и у Сашки тоже в горле комок давит, дышать мешает. Понимает он, чего немец сейчас испытывает, какую тяготу несет, и завел с ним Сашка мысленный разговор: "Понимаешь, какую задачу ты мне задал? Из-за тебя, язвы, приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, трибунал, а может, комбат вгорячах прихлопнет? Есть у него такое право – война же! Ты вот листовку порвал, "пропаганден, пропаганден" бормотал, а каково мне было глядеть, как ты нашу листовку рвешь? А что мне было сказать, когда из-за капитана вышло, что брехня эта листовка. А не так это! Правда она! И писалась людьми повыше комбата. И что мне теперь делать? Что?" – закончил он безответным вопросом.

А пепелище уж близко... Вот подошли они к первой сожженной избе. Надгробием торчала печная труба из груды пепла. Немец в нерешительности приостановился, но Сашка повел его дальше, чтоб из Чернова было их не видно. Вокруг пепелище, кое-где остались стены изб обгоревшие, а так только уголья чернели да что железное сохранилось: кровати искореженные, чугуны, сковороды, ну и кирпичи битые. Немецкая, видать, работа. При отходе сожгли, сволочи! Вот поджигателей этих стрелял бы Сашка безжалостно, если б попались, а как в безоружного? Как?...

Тут подумал Сашка: а как бы ротный на его месте поступил? Ротного на горло не возьмешь! Он бы слова для капитана нашел! А что Сашка – растерялся начисто, лепетал только

"не могу"... Да что может Сашка, рядовой боец, которому каждый отделенный – начальник? Ничего вроде бы. Но хватило же у него духу капитану перечить, а сейчас такое умыслил, душа переворачивается – приказ не выполнить! Да кого? Самого командира части.

Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что ему приказали. И еще третье есть, что сплелось с остальным: не может он беззащитного убивать. Не может, и все!

Остановился Сашка. Приставил ногу и немец. Близко стоят друг против друга. Поднял голову немец, глянул на Сашку пустыми, неживыми уже глазами, и предсмертная тоска, шедшая из них, больно хлестнула по Сашкиному сердцу... Отвернулся он и, забыв, что есть у него фрицевские сигареты, набрал в кармане махры, завернул сигарку, прижег... Потом очнулся и протянул немцу его пачку. Тот помотал головой, отказался, и понял Сашка почему: небось решил, что последняя перед смертью эта сигарета, и не захотел этой милости.

– Кури, кури... – не убирал Сашка пачку.

Немец опять вскинулся, и пришлось Сашке принять его взгляд, а лучше бы не видеть... Померкшие глаза и мука в них: чего тянешь, чего душу выматываешь? Приказ есть приказ, ничего тут не поделаешь, кончай скорей... Так или не так понял Сашка его взгляд, но обдал он его такой тоской, что впору и себе пулю в лоб.

Поглядел он с надеждой на поле – не идет ли кто? Нет, не видать. Он и вышел-то сюда, к пепелищу, потому что отсюда поле почти до самого леса проглядывается, и, если будет начальство из Бахмутова возвращаться, он издалека увидит, а как увидит, побежит сразу навстречу и к комиссару...

И тут послышался какой-то крик со стороны Чернова. Обернулся Сашка и обмер – маячила вдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом напрямик к ним, а рядом ординарец Толик, то забегавший поперек капитана, то равнявшийся с ним. Он-то и кричал что-то – наверно, Сашку звал.

Побледнел Сашка, съезжился, облило тело ледяным потом, сдавилось сердце – идет комбат, конечно, проверять, исполнен ли приказ его! И что будет-то?...

Кинул он тоскливый взгляд опять на поле, а вдруг... Но пусто поле. Тогда вышел Сашка из-за обгоревших бревен показаться Толику, чтоб не орал он, ординарец, заметивший его, перестал кричать и размахивать руками.

За спиной Сашки тяжело задыхал немец, подошедший и тоже увидевший идущих. Задыхал часто, с хрипом, словно воздуха ему не хватало.

"Теперь все! Теперь уже ничего не придумаешь! – безнадежно проносилось в Сашкиной голове. – Конец теперь немцу..."

Комбат был без шинели и без фуражки (ушанку он вообще не носил, даже на марше в метели лютые в фуражечке красовался), воротник гимнастерки расстегнут, незатянутый ремень оттягивался кобурой, но походка была твердая, не качнулся ни разу.

Вспомнил Сашка: так же вот ровно шел комбат в последнем их наступлении на Овсянниково, когда ни ротные, ни помкомбата не смогли поднять вконец измученных, перемаянных людей. Красиво шел... Глядели на него тогда с восхищением и поднялись, как один, через немоготу и усталость... И теперь прет, как танк, сравнил Сашка, потому как ощущения были схожие – тогда он знал, что никуда не денешься, и сейчас тоже...

И секундной вспышкой мелькнуло – ну, а если... хлопнуть сейчас немца и бегом к капитану: "Ваше приказание выполнено..." И снята с души вся путань... И, не тронув автомата даже, только повернувшись чуть к немцу, увидел Сашка: прочел тот мысль эту секундную, смертной пеленой зашлись глаза, заходил кадык...

"Нет, не могу..." Прислонился Сашка к уцелевшей полуобгорелой стене – такая слабость охватила, но в душе нарастало: "Не буду, не буду! Пусть сам комбат стреляет. Или своему Толику прикажет. Не буду!"

И когда решил так бесповоротно, вроде спокойней стало, только покой этот – покойнический... Лишь бы скорей подходил комбат, лишь бы скорей все это кончалось. И немцу маета эта невпроворот, и Сашке...

А капитан с ординарцем все ближе и ближе... Ну, что комбат делать будет? Силой заставит немца угрохать? Есть в уставе такое – обязан командир добиться выполнения своего приказа во что бы то ни стало и, если нужно, оружие применить. Или просто за невыполнение приказа Сашку на месте кокнет?

Уже шагах в сорока они. Видно, как попыхивает сбитая в самый угол рта папироска, как треплет ветром незачесанный чуб на лбу капитана, и ждать уж недолго.

И стал Сашка считать капитановы шаги, чтоб не думать ни о чем: "Раз, два... семь, восемь... двенадцать... двадцать, двадцать один... тридцать... тридцать четыре, тридцать пять..."

Совсем рядом комбат... Что будет-то? Приослаб Сашка, но все же нашел в себе силу выйти навстречу и, остановившись, вытянуться под стойку "смирно" и уставиться в лицо комбата.

Тот тоже остановился, широко расставил ноги и глянул на Сашку, но долго взгляда не задержал, хотя Сашка глаза не отводил, а прошелся вскользь, переводя потом на немца, тоже ненадолго... Откинув прядь со лба, комбат затынулся сильно папиросой и вроде задумался, уставившись в землю.

Толик на Сашку не смотрел, только кинул мимолетно: что, допрыгался, предупреждал я...

Только минуты перед атакой бывали для Сашки такими же маятными, такими же мытарными... И тихо бывало так же. Только теперь за спиной Сашки шумно глотал слюну немец и поскрипывали его сапоги на переступающих на одном месте ногах.

Комбат докурил, затоптал носком сапога брошенный окурок, опять отбросил налезший на лоб клочок и, шагнув к Сашке, уперся в него своим неморгающим тяжелым взглядом.

"Теперь конец, – подумал Сашка, – сейчас закричит, затопает, вытащит пистолет, и что тогда?"

Но Сашка не сник, не опустил глаза, а, ощутив вдруг, как отвердилось, окрепло в нем чувство собственной правоты, встретил взгляд капитана прямо, без страха, с отчаянной решимостью не уступить: "Ну, что будешь делать? Меня стрелять? Ну, стреляй, если сможешь, все равно я правый, а не ты... Ну, стреляй... Ну..."

Чуял Сашка; озлится комбат на его непокорный ответный взгляд, но на Сашку тоже накапало, ничего ему не страшно, будь что будет... И верно, раздул капитан ноздри своего чуть кривоватого, с горбинкой носа, но не закричал, не затопал, к кобуре руку не потянул, а глядел на Сашку хоть и сурово, но без злобы, очень серьезно и вроде раздумчиво, – может, отошел малость, одумался...

Это дало Сашке надежду, и вызов в своих глазах он погасил, и смотрел на комбата уже без дерзости, но твердо, хотя и колотилось сердце как бешеное, отдаваясь болью в висках.

И *отвернул* глаза капитан.

– Пойдем, – сказал он пораженному ординарцу, который хотел было что-то вякнуть, но не вякнул, а повернулся кругом, еле успев задеть Сашку недоуменным взглядом.

Сашка же стоял окаменело в той же стойке "смирно", все еще не сводя глаз с комбата, все еще не зная, радоваться ему или нет.

Уже на ходу, на миг остановившись, комбат повернулся к Сашке и бросил:

– Немца отвести в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

У Сашки засекается голос ответить "есть", закружилось все, и чуть не осел он у обгоревших бревен, чувствуя, как железный обруч, стягивавший его голову все это время, начинает понемногу ослабевать и наконец отпускает совсем.

– Повторите приказание, боец! – словно издали услышал он капитана и, набравши воздуха, выдохнул:

– Есть отвести немца в штаб бригады! – очень громко, как ему казалось, а на самом деле еле слышно.

– Выполняйте! – Комбат зашагал так же ровно, неспешно, сильно размахивая левой рукой, а около него крутился Толик, кидавший через плечо торопливые непонимающие взгляды на Сашку.

Сашка же вздохнул глубоко, полной грудью, снял каску, обтер со лба пот, провел рукой по ежику отросших за эти месяцы волос и окинул взором все окрест – и удаляющегося комбата, и большак, и церкву разрушенную, которую и не примечал прежде, и синеватый бор за полем, и нешибко голубое небо, словно впервые за этот день увиденное, и немца, из-за которого вся эта неурядь вышла, и подумал: коли живой останется, то из всего, им на передке пережитого, будет для него случай этот самым памятным, самым незабывным...

2

Поначалу, когда что-то толкнуло Сашку и сразу вдруг ничего не стало видно, кроме неба, он ничего не понял.

Только потом, когда вырвавшийся из рук котелок со звоном поскакал вдоль ручья, а левую руку в двух местах ожгло болью, до него дошло – *ранило*.

Но, обнаторенный двухмесячной игранкой со смертью, Сашка даже не повернул головы, лежал недвижно и только тихонько подвигал пальцами: шевелятся – значит, порядок, и только не колыхаться, немец-то наблюдает и, стоит шелохнуться, режет очередь. Но долго смотреть в одну точку тот стомится и, убедившись, что русский готов, удовлетворенно хмыкнет и потянется за сигаретами... Вот тогда можно рвануть, но как угадать?

И потому лежал Сашка застывшие, уставившись в небо, чувствуя, как быркая вода, промочив ватник, заледенила спину, затекла в левый ботинок и ознобила все тело.

Но все же надо поглядеть, что сотворил немец с его рукой, и Сашка скосил глаза. Из разорванного в двух местах рукава телогрейки торчала вата, но не белая, а бурая, и два темных до коричневости пятна медленно расплывались вокруг дырок.

"Почему это кровь не красная?" – удивился Сашка, а потом испугался, что уйдет она из него вся без перевязки и не добрать тогда до санзвода. И страсть как захотелось очутиться наверху оврага, перевязаться и немедля в тыл, пока есть еще силенка и пока не добились.

Но что-то удерживало Сашку внизу – как бы не промахнуться. И, все так же бессмысленно глядя в небо, старался он представить себе немца, который его подбил. И виделся ему его враг не таким, каким был взятый им недавно в плен немец, а совсем другим – старым, с лицом злым и желтым, как у трупов, а из-под нахлобученной каски выпучен белесый, прижатый к окуляру глаз, нацеленный на Сашку, а скрюченный палец на спусковом крючке готов вот-вот сжаться, чтоб пустить очередь.

И вдруг словно воочию увидел Сашка, как отнял немец руку от оружия и зашарил ею по карману – но глаза все еще на прицеле, – как вынул сигареты, потом зажигалку, и тут... тут надо рвать! И Сашка не замешкался, вскочил рывком, охнул от боли, и пулей через ручей, и взлетом по склону оврага. Плюхнулся он на землю под первой же елью. Дальше не побежал – нельзя! Если приметил его фриц, то хлобыстнет поперед его, хлобыстнет наобум, но может и прибить...

И впрямь пулевая очередь проскочила впереди Сашки, побивала ветки с деревьев, потом прорезала в правую сторону, где шел дальше редкий подлесок и где обитает его первая, битая-перебитая рота в тринадцать штыков – чертова дюжина, – измытаренная, оголодавшая, мокрая.

Кривясь от боли, стащил Сашка с левого плеча ватник, засучил рукав гимнастерки и увидел рваное, развороченное мясо – одна из пуль прошла касательно – и кое-как, наскоро перевязался.

Крови было почему-то немного, и подумал Сашка, что от этой треклятой жизни на передке ее вообще у него осталась самая малость. В голове кружило, тело обмякло в слабости, и захотелось курнуть, хоть одну затяжку сделать, чтоб приободриться, но одной рукой самокрутку не свернешь, да и табачишко у него – одна труха, придется перетерпеть.

"Ну что ж, – подумал Сашка, – полежу чуток, отдышусь и в тыл... Неужто отвоевался на время, неужто живым отсюда выберусь?" Даже не верилось.

Спустя немного поднялся он и небоязно – закрывали его тут деревья и кустарник – затопал по тропке, ведущей в тыл, но, не пройдя и десятка шагов, остановился... Постоял в нерешительности недолго, потом, махнув рукой, двинулся дальше.

На передовой такой порядок: если ранило, уходишь в тыл, отдай свой автомат или СВТ оставшимся, воевать которым, а сам бери родимую трехлинейную, образца одна тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, которую и сдашь в тылу. Будет проходить Сашка расположение второй роты, там и произведет обмен. Но его-то роте ППШ тогда не достанется... Сашка опять приостановился. Да и с ребятами, и с ротным надо бы проститься, начал уговаривать он себя, потому как смертно не хотелось ему перебежать опять этот проклятый ручей, возле которого не один десяток пробитых котелков и касок... И главное, уж больно редок лесок за оврагом, кустики одни да осинки тонкие. Сквозь них весь на виду будет Сашка, и только метров через сто станет укрытистей. Вот эти-то метры самые злые, и если приметит его там немец, врежет наверняка!

И Сашка заколебался... Конечно, фриц не ждет его обратно – какой дурак, ежели ранен уже, попрется назад, на тот гнилой болотный пятачок! – немец ждет кого другого, кто приползет за водичкой, и наблюдает, конечно, зараза. И дважды придется пройти Сашке под смертью – туда и обратно. А такая неохота, если добьют.

Но Сашка все эти страшные два месяца только и делал, чего неохота. И в наступления, и в разведки – все это ведь через силу, преодолевая себя, заколачивая страх и жажду жить вглубь, на самое доньшко души, чтоб не мешали они делать ему то, что положено, что надо.

Но сейчас-то это *надо* не так уж обязывало, потому как раненый он и имел право распоряжаться собой по-своему и *надо* ему топтать поскорей по этой тропке, которая в тыл, которая к жизни, да поторапливаться, пока тихо, пока силы есть... Но пока эти мысли крутились в голове, ноги принесли его обратно к оврагу.

И здесь с ходу, даже не приостановившись – потому, если задержаться хоть на минуту, не заставить себя дальше, – бросился Сашка вниз по уклону, перемахнул через ручей и грохнулся на землю уже на той стороне, вжался в траву и замер, ожидая выстрелов, но их не было – проморгал фриц! Но сердце колотилось как бешеное, и пришлось Сашке некоторое время полежать, прежде чем поползти дальше.

Как ни старался он не бередить раненую руку, задевалась она о землю и мешала. Мешал и автомат, и диски у пояса, и гранаты, и каска, налезавшая на лоб, и не раз замирал Сашка для передыху.

Миновав это гиблое, прозрачное место, он приподнялся и заковылял в расположение роты, но не совсем в рост, а пригнувшись.

Ни окопов, ни землянок у первой роты не было, кругом вода. Даже мелкие воронки от мин и те ею до полна, и уютилась, битая-перебитая, в шалашиках. Только у ротного был жидень-

кий блиндажик, на бугорке выкопанный, но и в нем воды до колена. К нему-то и держал Сашка направление.

Ротный стоял у своего обиталища и, видно, ждал Сашку. Он ведь и послал его за водой к ручью.

– Вот ранило, товарищ командир, – словно извиняясь, доложил Сашка. – Снайпер поймал, чтоб его...

– Зачем вернулся? – перебил ротный.

– Автомат принес... Да и с ребятами проститься...

– Тоже мне, сантименты, – буркнул ротный свое любимое словечко.

– Неудобно же так, не доложив... – Сашка бережно опустил автомат на землю.

– Ладно. Не задерживайся только, чем черт не шутит...

– Закурить бы... Не завернете, товарищ командир?

– Сейчас.

Ротный вынул кисет и немного дрожащими пальцами стал крутить большую сигарку. Ему тоже это несподручно: руки-то у него перевязаны. Уж месяц, как пошла по ним какая-то болезнь нервная от этой их жизни, что невпроворот, но в санчасть ротный не шел, а когда ребята уговаривали, отделялся небрежно этими своими "сантиментами".

Сашка принял сигарку, поблагодарил, затаился во всю мочь, и поплыло все перед глазами – хорошо...

Подожли бойцы-товарищи, обступили Сашку, обглядели.

– Отвоевался, Сашок.

– По-легкому отделался – в ручку.

– Повезло черту...

– А он везучий, Сашка-то.

– К праздничку в тыл подастся.

– Я говорю, везучий.

– За нас праздник отгуляй. Прижми в санроте сестренку какую за всех нас. – Это сержант сказал. На передке недавно, из разведки прислали. На несколько деньков его хватило анекдоты да байки про баб рассказывать, а потом заглох, сник, жадные глаза навывкат потухли.

– Он прижмет! Его самого сейчас... Верно, Сашка? С наших харчей не разбежишься.

Потом присели кто куда и откурили. Молча.

– Давай отваливай, Сашок. – Ротный тронул его за плечо. – Нечего рассиживаться.

Сашка поднялся. Конечно, надо идти, чего судьбу пытаться, но неловко как-то и совестно – вот он уходит, а ребята и небритый осунувшийся ротный должны остаться здесь, в этой погани и мокряди, и никто не знает, суждено ли кому из них уйти отсюда живым, как уходит сейчас он, Сашка.

И топтался он на месте, все не решаясь стронуться, пока ротный не прикрикнул:

– Прирос ты, что ли! Проводите его, сержант, до ручья.

– Сменят вас! Скоро сменят! Сколько ж можно? Сменят обязательно, – торопливо, словно боясь, что перебыют, залепетал Сашка. – Свидимся еще. Я из санроты ни ногой, дождусь вас непременно.

– Ладно, не загадывай. – Ротный протянул руку. – Ну, бывай, Сашок, смотри, чтоб не добило. Не хочу я этого. Понял? – И подтолкнул тихонько Сашку.

– До встречи, ребята! – бодро выкрикнул Сашка и сам почувствовал фальшивину в этой бодрости, потому как знал он точно: никаких встреч со многими оставшимися здесь не бывать, а кому уж из них остаться здесь, на этой ржевской, набухшей от крови земле, – это уж судьба...

Сашку немного пошатывало, и сержант поддерживал его за локоть. Перед тем местом, откуда ползти надо, посидели они чуток, и скрутил сержант Сашке на дорогу самокрутку, да не из "легкого", а из махорочки. Продрала она до самого нутра, приглушила боль.

– Счастливым ты, Сашка... – не тая зависти, протянул сержант.

Хотел было ответить Сашка, что нечего пока ему завидовать: впереди ручей, два километра по передовой, да и Черново обстреливают. Верст шесть надо пройти, тогда можно сказать наверняка – отвоевался, а пока...

Но глянул на сержанта, а у того глаза словно пленкой какой подернуты, нехорошие глаза, и ничего не ответил, – конечно, счастливый по сравнению с другими-то.

Долго набирался Сашка духу перед оврагом – страшно через него идти. Пожалуй, ползком придется. Конечно, замокришься весь, в грязи изваляешься, зато фриц не заметит... Но неподобно Сашке, бывалому бойцу, праздновать напоследок перед немцем труса. И опять в рост метнулся он через овраг, и опять стрекотнула по нему очередь, и опять отлеживался он под той же елью... Только теперь немец так быстро не отстает, поливает и поливает... Вот и мины пустил, зараза, чтоб ему провалиться, и шлепнулась одна прямо в ручей, обдав Сашку комьями грязи.

"Вот язвы так язвы! – шептал он. – Неужто не дадут уйти, гады?" Но где-то предчувствие – обойдется... Минут пятнадцать бушевал фриц, а для Сашки век целый.

"Теперь все, никаких задержек больше", – сказал он себе и что было сил затрусил по тропке. До второй роты шла она вдоль опушки, и виднелось ему сквозь деревья поле, то страшное ржавое поле, по которому бегал и ползал и на котором мог бы остаться навечно, как остались многие его друзья-товарищи.

Там, где тропа сворачивала влево, в глубь леса, он приостановился и окинул последним оглядом это поле и попрощался мысленно со всеми, там оставшимися... Не его вина, что не разделил он их судьбу, выпал ему просто счастливый случай до времени, но впереди-то у него еще вся война...

Свернув в лес, Сашка успокоился. И идти тут легче – посуше.

Два месяца не гляделся он в зеркало. Тот осколочек, что употреблял при бритье, показывал ему только отдельные части лица, ну а осмотреть себя всего где уж...

А вид был у него не ахти: обгоревшая, заляпанная грязью телогрейка вся в дырах, брюки ватные в клочьях, из дыр на коленях просвечивали другие брюки, диагональные, тоже протертые, и виднелись из них бежевые теплые кальсоны, а потом уж и тело синело; ушанка, задетая пулей (каска-то не всегда надевали), тоже растерзана, обмотки цвет свой потеряли и рыжи от налипшей глины, а руки черные, обожженные... Грели их над костром, а когда задремлешь на миг, падали они в огонь безжизненно, оттого и ожоги.

Не один Сашка такой, все на передке такие же и как бы в порядке вещей, но сейчас ощутил он на себе весомость двухмесячной грязи и замечтал о бане: как прогреет в парилке вконец измученное тело, как сдерет с него коросту наростшей грязи, как наденет после прожарки горячее белье и как избавится наконец от противного зуда, изводящего всех их постоянно... Даже блаженная улыбка проползла по Сашкиным губам, когда представилось это, но в тот же миг очутился он на земле – тонко пропели две шальные пули над головой.

И понял он: ничего загадывать пока нельзя, слишком ненадежно пока его бытие. Так и смерть может захватить распахом... И навалился на Сашку после этих пуль страх: как бы не добило.

Насколько позволяли силы, прибавил он шагу, проклиная голодуху. Из-за нее, проклятой, не может он сейчас убыстрить ход и плетется, как обезноженный, а не ровен час, надумает фриц из миномета бабахнуть или "рама" в небе загудит, которая хоть и для разведки, но может и бомбами закидать, что не раз бывало.

Лес погустел, потемнел, и пала на Сашку мысль, что не выпустит его передовая, что возьмет свое напоследок, не даст добраться до тыла живым, и так тошно стало, что остановился он, прислонился к ели и стал пытаться одной рукой сигарку завернуть, – может, легче станет.

Сыпался табак, рвалась газетка, но кое-как прислонявил он самокрутку, кое-как выбил искру "катушей" и закурил.



О многом передумалось здесь за эти месяцы, вдосьть набедовался Сашка под этими ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять... Но ни разу не засомневался он в победе. Казалось уж яснее ясного – сильнее немец пока и воюет осторожно, людьми не раскидывается, ночами бережется... Сколько ракет надо иметь, чтобы вот так все ночи подряд запуливать их в небо без передыха, – уйму. Мин и снарядов тоже не жалеет. Значит, навалом их у него...

Но все же знал Сашка точно – не победить немцу! Да и деревни эти могли бы взять. Один раз совсем уже подобралась. Чуток бы огоньку да пару "тридцатьчетверок" – и хана фрицам.

Понимал он и то, что дело не только в недохвате снарядов и мин, но и порядка было маловато. Не научились еще воевать как следует что командиры, что рядовые. И что учеба эта на ходу, в боях идет по самой Сашкиной жизни. Понимал и ворчал иногда, как и другие, но не *обезвѣрел* и делал свое солдатское дело как умел, хотя особых геройств вроде не совершал. И совсем не думал, что одно нахождение *тут*, в холоде и голоде, без укрытий и окопов, под каждочасным обстрелом, является уже подвигом.

Наконец-то поредел лес, посветлело впереди, и должно вскоре показаться Черново. И тут вспыхнуло в Сашкиной душе чувство чего-то очень хорошего, что ждет его впереди, но он безжалостно погасил его. Не о доме то, не о матери... До дому ему не добраться. Ранение легкое, отлежится в санроте и опять айда обратно, но именно в санроте и ждало его то радостное, о чем и гадать было страшно, как бы не сглазить... И не разрешил себе Сашка никаких мечтаний – ох как далече до настоящего тыла, и всякое может приключиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.